



Вакар (Азанчевская)
Юлия Павловна

город Смоленск

ИСПОВЕДЬ



От редакторов-публикаторов

Представляя Вашему вниманию эту книгу, познакомимся сначала с ее автором. Юлия Павловна происходит из старинного дворянского рода Вакаров, зародившегося в Польше и ведущего свою историю с середины XVI века. В XIX веке Вакары служили Государству Российскому в различных военных и гражданских чинах, вплоть до генералов и тайных советников. Революция 1917 года расколола этот род географически. Часть Вакаров примкнула к "белому" движению, воевала против советской власти, а после гражданской войны эмигрировала за границу. Сейчас их потомки живут в США, Франции, Польше, Англии, Австралии и Аргентине. Немало Вакаров осталось и в России. Среди них - видные ученые, военные и гражданские деятели.

Юлия Павловна Вакар (в замужестве Азанчевская) родилась 3 февраля 1854 года в Смоленске. Свою "Исповедь" она писала там же в период с 18 сентября 1881 года по 20 августа 1884 года. Эта книга характеризует ее как высоконравственного, честного, искреннего человека православного вероисповедания. Вместе с тем, она выступает здесь и как поэт, философ, психолог. Несмотря на длинноты и отчасти дневниковый характер текста, повествование нередко достигает захватывающей драматической силы.

Главным содержанием книги является описание семейства Вакаров и жизни их знакомых и родственников, русских провинциальных и столичных дворян второй половины XIX века. Проникновенно и поэтично описывается первая любовь Юлии Павловны к **Владимиру Михайловичу Вороновскому** (1855-1933), в будущем смоленскому земскому чиновнику и общественному деятелю, действительному статскому советнику, автору книги "Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии" (СПб-1912). Эти записки она и посвятила своему "другу". Значительное место уделено взаимоотношениям с **Владимиром Петровичем Марковым** (1837-1910), Шлиссельбургским земским чиновником и общественным деятелем, поэтом, действительным статским советником. В книге помещены многие стихи В. П. Маркова.

Редактирование текста было минимальным:

- на обложке - фото Юлии Павловны Вакар (Азанчевской) в 25-летнем возрасте и вид Смоленска 1912 года с колокольни Успенского собора (фото Прокудина-Горского С. М. (1863-1944);

- содержание книги для удобства чтения разделено на главы, соответствующие, подзаголовкам, выделенным автором;

- после некоторых дат для ориентации в скобках указан возраст автора в это время;

- фамилии действующих лиц (все они подлинные) при первой встрече выделены жирным шрифтом, опять же для удобства отслеживания круга общения автора;

- стиль письма не изменен, произведена лишь коррективная правка правописания, хотя в некоторых местах, главным образом в стихах, для полноты восприятия духа того времени сохранена старая орфография.

Оригинал представляет собой машинопись старым стилем, где многие имена и фамилии вписаны или расшифрованы от руки. Приносим глубокую благодарность И.А. Вакар, предоставившей его в наше распоряжение, и А.А. Томилову, оцифровавшему его и сделавшему первый раунд вычитывания цифрового текста.

Настоящий текст требует доработки. В будущем мы хотели бы дополнить его семейным и историческим комментарием и новыми иллюстрациями. Если Вы можете сообщить что-либо о персонажах этой книги или их потомках, или у Вас есть их портреты и фотографии, пожалуйста, напишите Ивану Александрову по адресу ivanalx@hotmail.com

По нашему мнению, книга представляет несомненный интерес для любителей российской истории и исследователей истории семейной, для тех, кто хочет ощутить атмосферу русской провинциальной и столичной жизни XIX века, донесенную до нас Тургеневым, Буниным и Чеховым. Это воспоминания, написанные женщиной с неординарным и сильным характером и независимыми взглядами, живой кусок колоритной и «безумной» русской жизни, которая закончится так скоро.

Приятного вам чтения!

02.04.2016

Иван Александров, Андрей Полынский - потомки рода Вакар.

Содержание

	стр.
Предисловие.....	4
Исповедь	10
1860.....	21
1862.....	22
1873.....	29
1874.....	35
1875.....	38
1878.....	51
Стихи.....	66
1880.....	95
В клинике.....	98
В отделении буйных.....	104
После клиники, учительское училище.	112
1879, Питер.....	114
Смоленск, лето 1880.....	117
Питер, осень 1880, 1881.....	119
1881.....	121
Лето 1881, возвращение в Смоленск.....	123
1882.....	124
1883, свадьба.....	125
Послесловие.....	128

**1881 года 18 сентября (27 лет)
Моя исповедь женщинам.
Часть 1-я посвящается другу моему**

Предисловие

Избирая духовником своим женщину, я невольно задаюсь вопросом, что же такое женщина, и хорошо ли я делаю, избирая именно ее духовником своим. Ведь не потому же отдаю я ей предпочтение, что сама женщина, тем более, что отлично знаю главную черту, усвоенную женщиною, которая положительно противоречит званию поверенного: это болтливость. Определять заданный мною вопрос довольно трудно, и только опыт почти 28-летней жизни позволяет мне сделать такое определение.

По моему, теперешняя женщина есть существо, созданное мужчиной в продолжении целых веков, и надо отдать справедливость: выше мужчины в деле эгоистического воспитания нет никого. Практикуясь веками, он совершенствуется в этом деле до тонкости, а поэтому немудрено, что результаты получаются безукоризненные. Мужчина был и всегда есть эгоист, и эгоист, в самом низком смысле этого слова. Женщина у нас раба, она вполне подчиняется мужчине, даже несмотря на все современные вопросы об эмансипации и равноправности женщины. Она была рабой в силу закона, а мужчина, пользуясь этим, приучил ее смотреть на себя как на главу во всех отношениях превосходящую ее. Мало того, гарцуя перед нею умом, образованием, положением и всем, чем только может, он унижал женщину всегда и везде, унижал ее даже своими льстивыми похвалами, унижал ласками животной любви, потому что у него все рассчитано, все подбито эгоизмом личного удовольствия, а женщина всегда верила и с гордостью любовалась своим властелином.

Правда, был период рыцарства, бывают минуты, когда мужчины кажутся униженными, когда они у ног как рабы; молят, просят, клянутся, что всю жизнь посвятят любимой женщине, но, добившись от нее удовлетворения страсти, забывают любовь, ради которой она на все соглашалась. Для женщины такое преклонение мужчины новинка, она жалеет того, кого любит, легко поддается, ценя момент своей власти, и не умеет устоять с гордостью, потому что верит в чувство, верность и покорность того, кто за одну минуту такого унижения нередко убивает всю ее жизнь.

Долго-долго завеса жизни закрывала от женщины мысль о возможности быть свободной, самостоятельной, равноправной; но воспитатель ее не дремал и понял, что придет время, когда его раба сознает свое унижение. Не даром ведь женщины в наш век так часто пускают себе пулю в лоб. Сообразив это, мужчина решил, что ему выгоднее самому объявить свободу и равноправие, но в тоже время он не забыл забрать вожжи в свои руки на новом пути. Бедная женщина, не постигнув этот мираж, вообразила, что она действительно свободна и стала смеяться над теми, которые не решались вступить на этот новый, заманчивый путь.

Но что всего удивительнее, так это то, что наша золотая молодежь со всею искренностью души взывала к равноправности и братству. Она проповедовала равенство, совместный труд, свободу и уже видела всеобщее счастье, сама того не замечая, как меняет прежний костюм властелина на такой же, но новый, более прочный, подходящий наряд. И так передовые исполнители ролей на новый лад запаслись самыми верными орудиями: искренностью и даже самоотверженностью. Однако, волка как не корми, он все про лес вспомнит и, чуть только во вкус войдет, начнет загребать в свой карман, так и наш глава. Он по-прежнему повелевает, сначала бессознательно, потом из каприза, наконец, по привычке считать себя умнее, ему приятно сознавать, что освобожденная им женщина теперь добровольно слушается. Нередко первое влияние мужчины на неопытную юную девушку

ограничивается лишь тем, что он предлагает ей покурить вместе с ним, потом, среди братской семьи учащихся, выпить за равенство, свободу, а чтобы после этого гарантировать слабое создание от риску быть вышвырнутой за косу из мертвецкой, он предлагает ей остричься и любуется на этот образец новой женщины, так легко подчиняющийся ему на свободе... И поют они весело вместе: "Проведемте друзья эту ночь веселей, пусть нас, братьев, семья соберется тесней". И так эти отрицатели семьи о ней же взывают в своей песне.

*И верят эти властелины
Что в равенстве они живут,
А вековые их рабыни
Свободы гимны им поют.*

Несчастные, когда опомнитесь вы, когда сумеете оградить свое человеческое достоинство, когда поймете свое великое назначение? О, как это трудно, но помни женщина, что только тогда ты перестанешь быть рабой, только тогда ты поймешь и вкусишь всю сладость истинного святого гражданского равенства, когда смирением, снисходительностью, уступчивостью, искренним, чистым, глубоким чувством сумеешь заставить мужчину уважать себя и любить как человека, когда добьешься иного разделения рода человеческого сообразно высшим душевным качествам его, а не того, которое существует до сих пор, распределяя людей, подобно зверям, лишь на два пола. Но наши современные женщины, увлекаясь на скользком пути и внимая только соблазнительному голосу своего поработителя, удаляются от истины и даже не понимают, что действительно имеют право на равенство и свободу (только не в смысле разнузданной воли). Да, наша женщина не понимает, что может завоевать свободу в полном смысле этого слова только тогда, когда, не переставая быть женщиною, она станет человеком, сознающим и выполняющим свой долг, не забывая ни Бога, ни чести, когда призовет всю гордость свою и собственным трудом и умом проложит свой путь, не опираясь на ту руку, которая привыкла водить окольными путями, забывая всех, и все кроме себя. Привожу здесь не совсем удачные по слогу, но заключающие в себе глубокую истину стихи, ту истину, от которой зависит все счастье женщины:

*Воедину от суббот.
Все тихо, дремлет, Палестина,
Знакомый сад, тоски полна
Идет еврейская жена,
Идет Мария Магдалина.
 Не страшны ей ни мрак ночной,
 Ни вид, пещеры гробовой
 Идет к Распятому она
 Священный подвиг, совершить,
 Душистой миррою облить,
 Христа страдальческое тело.
Благая цель, благое дело,
Пришла Мария.... и глядит
Глаза в слезах... но видно ей,
Что нет у гробовых дверей
Уж боле камня.... отвален,
 Но кем, когда и чьей рукою?
 И где Господь, и взят ли Он,
 А если взят, то где положен?
 Но кто в таинственной тиши
 Ей даст ответ на вопль души?*

Все безнадежно. Стало ей
 Еще грустней, еще больней,
 И вновь к друзьям, перед зарей
 Она вернулась в град святой
 Скрываясь в горнице Сиона
 От иудеев и врагов,
 В немой тиши, одни без слов
 Под гнетом горя и тоски
 Сидят Христа ученики...
 Едва до слуха их коснулись,
 Слова жены о том, что нет
 Христа во гробе.... содрогнулись

У них сердца... Марии в след
 Они пошли во тьме ночной
 К пещере мрачной, гробовой....
 Пришли.... приникли к двери гроба,
 И с сокрушеньем видят оба,
 Что нет в нем Господа Христа,
 Мрачна могила и пуста....
 И снова к спутникам своим
 Пошли назад в Иерусалим.
 А ты Мария?... ты стояла
 У входа в гроб, забыв себя,
 Чего-то смутно ожидала,
 Тоскуя, плача и любя.

Но близко утро искупленья
 Уже редет мрак ночной,
 Молись... в слезе твоей святой
 Не загорится ль луч спасенья
 И в грудь к тебе, с надзвездной дали
 Не упадет ли, как роса,
 Надежда... вдруг ей слышны стали
 Из гроба чьи то голоса:
 "О чем, жена, твое страданье,
 "О чем болезнь и грусть души?
 "Зачем пришла сюда с рыданьем,
 "Чего ты ждешь в ночной тиши?"

Она в ответ им: "Я рыдаю
 "Об Искупителе своем,
 "Он здесь, в гробу был положен...
 "А где теперь он я не знаю,
 "И кем отсюда унесен?...
 Вздохнула тихо. Новой встречи
 Ждала ль ты грустная жена?
 Но снова звуком чудной речи
 Вдруг огласилась тишина:
 "О чем ты плачешь? -оглянулась...

Не вертоград ли за ней
 У гробовых стоит дверей?
 Не он.... и снова содрогнулась...
 Вдруг тихо раздалось : "Мария"
 "О Раввунни" и вся в слезах
 К ногам Христа упала в прах....

"Ни прикасайся, Мне.... не время,"
 Сказал Христос.... "к друзьям своим
 "Иди назад в Иерусалим
 "И с нихними страданий бремя
 "Живою вестию о том,
 "Что восхожу Я к Богу сил
 "К Отцу небес из тьмы могил"

По миру Божьему раздался
 Глагол божественный Христа
 И в первый раз "Христос воскресе"
 Сказали женския уста.

Впервые весть о возрожденьи
 Через Марию в мир прошла,
 И благовестницей спасенья
 Впервые женщина была.

А Ты, с небес, Спаситель мира,
 Всех жен земных благослови,
 Да будут вестницами мира
 Надежды, веры и любви.

Кстати, поясню здесь последнюю страницу и стихи: если женщина, познав Христа и великое ученье Его, внесла возрождение, если она первая благовестила спасенье, если она умела в те далекие времена постигнуть веру, умела самоотверженно любить, внося всюду мир и надежду, то неужели же теперь, вопреки прогрессу она стала слепой рабой, зверем с оружием в руках не только против своих ближних, но нередко против собственных детей. Неужели она не понимает, что завоевав, благодаря реформам Царя Освободителя, право на высшее образование, сама подорвала доверие к своим силам и вместо того, чтобы благоговейно преклонится перед великим монархом, выступила против него с оружием в руках.

Плачь же, плачь над своим падением, бедная женщина, рыдай, читая эти строки, если ты способна сознать всю горечь своего паденья. Плачь, презренная раба, пусть эти вековые слезы смоят твой позор, который ты добровольно принимаешь на себя и которым ты ехидно гордишься. Понимаешь ли ты, что меня душат рыданья, когда я думаю до чего ты дошла. Понимаешь ли, что впервые в жизни у меня не хватает слов, чтобы обличить тебя, недостойную носительницу нашего имени. У меня впервые судорожно сжимаются руки, и я готова была бы задушить тебя. Понимаешь ли ты, что ты хуже скота, что поправ святыя права женщины и матери, разбив человеческие чувства и святыя узы семьи, отвергнув даже инстинкты самки, ты достойна, чтобы женщины сами растерзали тебя, чтобы они сдули с лица земли твой извергский призрак. Слушая презренного руководителя, в чем видишь ты возрожденье? Боже, не допусти других на этот страшный путь.

Я до сих пор не могу примириться с мыслью что женщина.., женщина - повешена. Да лучше все мы собьемся в стадо, замрем для высших чувств ума, станем в полном смысле самками, но не допустим такого позора. Гляди, твоя сверстница, сохранившая хоть животную страсть, спасена. Мать, и перед этим словом преклоняется все: закон и люди, но ты не достойна этого святого имени, ты попрала его везде и во всем и неужели думаешь, что кто-либо способен после этого поверить в твою мировую гениальность. Неужели станешь спорить, уверяя, что поступаешь по убеждению, что идешь в пропасть с сознанием помощи народу. Так знай же, что этот народ не признает тебя, и убежденною ты никогда не была, стоит твоему властелину придумать новый маневр и ты, зажмурясь, пойдешь за ним хоть на край света.

Ты смеешься мнимо, эмансипированная женщина 19-го столетия, ты считаешь мои слова чушью, бредом девушки, проникнутой фанатизмом и суевериями? Смейся,

сколько душе твоей угодно. Если найдутся десять человек, которые поймут меня, то я и то буду счастлива, а от тебя ждать сочувствия и понимания так же трудно, как трудно было бы Грише Добросклонову добиться понимания от дяди Якова. (*Эпилог Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"*). Однако многие могут удивиться, отчего я так напустилась на женщину. На это я отвечу им, что и сама не понимаю, как закипела во мне вся желчь. Ведь не браниться же села я в самом деле, а между тем дошло до того, что я готова была вступить в кровавую борьбу с тем ненавистным призраком женщины, который породило 19-е столетие. Да, я сама теперь только поняла насколько презираю этот жалкий новый тип рабы.

Прочтите статью в Деле 1881 года: "Новые типы забитых людей". Там говорят о героях незабвенного романа Ф.М. Достоевского, указывая на Снегиревых, Максимовых, Карамазовых, которые готовы на всё, не жалея своего человеческого достоинства, лишь бы только удовлетворить свою животную сторону не работая, не приобретая собственным трудом. Жалкие это люди, но горько что нет того автора, который сумел бы осветить женские типы вечно забитых существ. Женщина, не умея и не желая работать собственным умом, отдала за ласковый взгляд своего властелина и жалкие крохи хлеба не только свое счастье, но свою честь, свободу и свою душу. Она, как дрессированная собака, исполняет все, что желает ее господин, исполняет по одному взгляду, не ожидая приказаний и, как существо разумное, инстинктивно глубоко постигает все, что соответствует вкусу ее властелина, глупо радуясь, когда бесчувственный тиран лишь благосклонно погладит её. Она верит кличке "умница", верит льстивым словам, что все ее поступки героичны и принадлежат исключительно ей.

Однако, что ж я продолжаю браниться? Ведь тот, кто знает меня, улыбается, читая эти строки, понимая как мало способна я к кровавой борьбе. И это правда, я видела на своем веку людей достойных сожаления, сама страдала от них, но никогда не испытала злого чувства к людям и до сих пор не понимаю, что значит ненавидеть их, делать вполне сознательно зло другому; но в то же время я от всего сердца презираю зло, в какой бы форме оно не выражалось. Я готова каждую минуту душить его, готова хоть на смерть в борьбе, но только в борьбе не с плотью, а с духом. Что плоть, - убить человека одна минута, но дух, которым он жил, который он, может быть передал многим, не убивается! Дух живет, веками, тысячелетиями. Чтоб убить какой-либо презренный тип, воплотившийся среди людей, нередко требуется смена нескольких поколений. Человек спокон веков привык бороться не с духом, а с плотью, может быть в силу простой привычки делать то, что легче. Он даже выработал правило винить во всем свою грешную плоть: "дух бодр, плоть немощна", - утешает он, себя, сделав какую-нибудь пакость. Бедняга, он не замечает, что стал сам нищим духом среди общего оскудения, не понимает простейшего закона, что не плоть управляет духом, а наоборот. От дурных мыслей происходят дурные желания и дела, это зазубривает каждый, будучи еще ребенком, но, придя в возраст, придумывает различные формулы самооправданий на случай соблазна духа и плоти. "Страсть слепа", - кричит он, "плоть немощна, молодость порывиста" и т.п. Одним словом: он..., он-то не виноват.

Ну, а если так, если каждый из нас заручился оправдательным вердиктом, то какая уж тут борьба со злом, и бушует оно все сильнее и сильнее, поглощая человеческое счастье. Люди, погрязая в страстях и житейских невзгодах, не могут не чувствовать этого. И вот те, которым стало очень жутко, начинают восставать против зла, но где же и в ком ищут они его? Конечно, не в себе, а в других. Пойманный на месте преступления спешит доказать свою невинность, но на его указания, что плоть немощна, молодость порывиста, легко отвечают: "так смерть ей" и допекают юношество, то стреляя, то вешая. Уже целое поколение выросло на костях погибающих "будто бы за великое дело любви", а толку все нет, и житейская дорога даже не утрамбовалась костями, напротив, она стала еще грязней, еще топче, и мало-

мальски оскудевший духом моментально завязает в ней, конечно, как утопающий, он нередко сунет другого-третьего, чтобы самому вскарабкаться на них, но где ж исход?

*Гроб вчера и гроб сегодня
На гробах, мы все стоим,
Средь могил, знать власть Господня,
Как рабы твердим.*

*Жажда правды, но страдая
В темном царстве лжи и зла,
Жизнь гложет молодая,
Правды в мире не найдя.*

И к чему ее искать в мире, если он стал, для нас темным царством? Напрасный труд! Не лучше ли поискать эту правду в себе: познай самого себя, вот величайшая разумнейшая задача каждого из нас. Что может быть лучше и благодарнее этого труда? Познавший себя непременно найдет правду и увидит её в других. Он как яркая звездочка станет сверкать среди нашего темного царства. К свету же всякий стремится.. Да, высказанная мною истина известна каждому, она даже считается избитою фразою. Но в том-то и горе наше, что истины, глубокие истины пренебрегаются и часто становятся у нас фразами. Никто ведь не попробовал воплотить эту истину, а если кто и пробовал, то, по обыкновению найдя это трудным, признал и даже завещал, что "такое-то дело невозможно при нашей немощной плоти" и грустно, что потомство верит этому, не пытаясь возобновить побитую истину.

Однако, не отвлекаясь более от первоначальной темы, могу сказать, что, благодаря Богу, нет правил без исключений, и я убедилась, что среди нас, женщин, есть тоже люди, и люди в полном смысле этого слова. Долго, очень долго искала я людей, искала путем самой искренней дружбы, искав и находя... друзей. Я не придавала значения полу и возрасту, но, конечно, мне интересно было убедиться, среди какого пола и возраста сохранилось больше неиспорченных человеческих чувств. Опыт моих наблюдений в продолжении 10 лет заставил меня с восторгом убедиться и верить вместе с незабвенным сердцеведцем Ф.М. Достоевским, что в каждом человеке, как бы не был он испорчен и забит, есть святая искра, которая теплится в нем до последней минуты жизни, а потому я глубоко верю, что каждый человек, как бы он не был нравственно изуродован, может воскресить в себе свое человеческое достоинство, если ему удастся только столкнуться с истинным братом во Христе, который своим участием, своей ласкою, своею дружбою (отнюдь не снисхождением, угрозою, высокомерным указанием на собственные добродетели) облегчит ему участь и протянет ему свою здоровую руку, чтоб снова вывести на истинный путь. Отрадно хранить в себе такую веру, она делает нас счастливыми, подкрепляет в нас надежду на возможность всеобщего счастья в далеком будущем.

Что же касается моих личных друзей, то истинными из них я могу считать пока только трех: другом всей моей жизни была старушка, ныне 75 лет; тот, кому посвящаю этот труд, стал воистину другом моим будучи 19 лет; последнего друга своего неизменного я нашла в девушке 25 лет. Итак, пока женский пол преобладает. Кроме того, возраст моих друзей показывает, что женщина зрелых лет и до глубокой старости способна быть верным другом. Я счастлива, сознавая это, и вот причина, по которой выбрала женщину своим духовником. Слушай же родная, я расскажу тебе без утайки все что случилось со мной, все что чувствовалось, что думалось на моем веку, и верь, голубка моя, что ни в чем как на духу перед Христом не солгу тебе.

Исповедь

Так как человек и характер его жизни есть продукт далекого прошлого, то я начну свою биографию с дневника моего отца, который прилагаю в той краткой отрывистой форме, в какой достался он мне после смерти незабвенного батюшки. Подробности его службы и лица, упоминаемые в его памятной книжке, может, будут интересны кому-либо из знавших его, а я с своей стороны вкратце изложу все, что только известно из жизни моих дедов.

Дед мой **Алексей Григорьевич Вакар (1773-1865)** был женат на очень красивой девушке **Мавре Исидоровне Юрьевой (?-1828)** и служил в Петербурге при министерстве юстиции. Эта бабушка моя занимала прежде какую-то незначительную должность при дворе покойной императрицы Александры Федоровны и выслужила пожизненную пенсию в размере тысячи рублей. Посаженным отцом моего деда соблаговолил быть Император Александр I-й, и в знак своего благосклонного внимания он прислал тогда дедушке чудный бриллиантовый перстень.



В 1805 году родился мой отец **Павел Алексеевич Вакар (фото Павла Алексеевича Вакара - 1805-1878)**, а через два года дедушка вместе с бабушкой и любимым первенцем своим оставили Петербург. Они приобрели громадное имение в Могилевской губернии, а сами поселились сперва в городе Могилеве, где и были взяты в плен в 1812 году. В 1813 году батюшку отвезли в Петербург в пансион, а в 1815 снова взяли домой, где и воспитывали до 1821-го, когда прибыл родной брат дедушки **Феликс Григорьевич**, служивший в Украинском полку полковником.



Феликс Григорьевич (фото Феликса Григорьевича Вакара - 1790-1854) был женат на молдаванке **Виктории Кешко** (ныне родственница ее замужем за князем Миланом) и готов был принять племянника на свое попечение, но отцу моему не удалось начать службу под начальством родного дяди. В 1822 году отец поступил в лейб-гвардии егерский полк, предварительно же, он кончил курс в школе гвардейских подпрапорщиков. В Петербурге отец поселился вместе с другом своим **Василием Ивановичем Марковым (1785-1848?)**. Странно, друзья были далеко не одних лет, - отцу 20, а Маркову - 40. В 1827 году отец мой, несмотря на свои юные годы, уже принял на свое попечение второго брата своего **Модеста (фото портрета Модеста Алексеевича Вакара - 1813-1867)**, которого определил в Петербурге в артиллерийское училище. Но еще раньше этого начался первый и последний роман моего отца.



В 1825 году скончался Император **Александр 1-й (справа фото портрета императора Александра I - 1777-1825)**. Тело его было перевезено в Петербург, и отец мой удостоился быть дежурным офицером в крепости у гроба великого

Монарха. Несмотря на свои юные годы и прелестную наружность, отец мой был очень скромн и солиден, он благоговел перед советами своего умного отца и вел жизнь свою чрезвычайно аккуратно, считая нравственность высшим



достоинством и лучшим залогом будущего счастья и здоровья. Несмотря на военную сферу, окружавшую юношу, отец мой ненавидел вино, не курил, никогда не играл в карты и, можно сказать, в полном смысле вел жизнь монаха среди военного разгула. Часто бывало, еще ребенком я слушала рассказы, как товарищи надували его, прося в долг у аккуратного сослуживца, и потом не отдавали, а под веселую руку раз повалили, да и влили водки насильно в рот. Отцу так сделалось дурно, что другой раз они не решались шутить, хотя и не переставали смеяться, называя "красной девицей". Но ни насмешки, ни соблазны, ни окружающий разврат не увлекали юношу, который, строго глядя вперед, уже закалял себя для дальнейшей жизни. Он не поддавался увлечениям, а только ежеминутно глубоко изучал жизнь.

Находясь дежурным у гроба Императора, он с прискорбием взирал на весь штат придворных дам, понимая, что их раздушенные платочки подносились к лицу далеко не для утирания слез, потому что не раз замечал улыбки на прелестных устах из-под кокетливых платочков. Не удивительно, что после такого впечатления он остолбенел при внезапном появлении юной красавицы, и красавицы в полном смысле этого слова, потому что красавица должна быть воплощением прекрасного во всех отношениях. В храм вошла согбенная годами старушка и с нею юная 17-ти летняя, стройная, высокая брюнетка. Нежные черты ее лица были так хороши, что не только простой смертный, но и художник не оторвал бы от нее глаз.

Чудный взор скромной красавицы скользнул по величественно печальной обстановке храма, она с детским благоговением опустилась на колена у гроба монарха и заплакала среди теплой искренней молитвы своей. То была минута, приковавшая к ней навеки другое честное сердце. Но, увы, она не чувствовала этого, не предполагала, что быстрое исчезновение ее из храма могло защемить сердце другому, потому что он был связан долгом службы и даже не мог сделать шагу, чтобы проследить за тою, которая так лучезарно и так внезапно осветила его скромный жизненный путь.

Кончилась печальная процессия, юноша возвратился домой, но ах, уютный уголок уже не удовлетворял его. Бесспорно, что в нем он всегда встречал ласку и добрый совет старого друга, но, к сожалению, друзья большей частью начинают выражать свое сочувствие с того, что с полной искренностью принимаются подтрунивать над проявившеюся грустью, задумчивостью, бессонницею и стремлением к уединению. Так случилось и на этот раз.

Долго Марков дразнил своего юного сожителя, но заметив, наконец, насколько серьезна была причина нравственно повлиявшая на моего отца, остепенился и, спустя несколько дней, сумел выпытать подробности того рассказа, который приведен был выше. Благодаря живому характеру и пылкому воображению Маркова, интимная беседа друзей самым благотворным образом повлияла на моего отца. Он ожил, вдохновленный надеждою, постоянно подкрепляемый возгласами друга: "ну, брат, не горюй, разве Петербург клином сошелся, да я вдоль и поперек его изъезжу, чтоб найти пленившую тебя красавицу". Таким образом, шли дни за днями и после долгого ожидания судьба все-таки столкнула моего отца с тою девушкою, которая так сразу очаровала его.

Смутно помнится мне из его рассказа, что встреча произошла где-то на улице, что он проследил за нею, заметив скромный домик на Песках, где она жила, близ церкви Знаменья, стал часто проходить мимо окон, чем обратил ее внимание и на себя. Во все время пребывания моего отца в Петербурге, с 1817 года у родителей его тянулся важный процесс по делу с г-жею **Лукшиною**, которая противозаконно присвоила себе часть их земли. Отец мой, как старший сын, принимал живое участие в этом деле, и вот в 1826 году, когда процесс уже приходил к концу, ему пришлось быть по этому случаю в Сенате, где он и познакомился с обер-секретарем **Владимиром Михайловичем Ильинским**.

Почтенный старик чрезвычайно обласкал его, сказал, что был знаком с его родителем и пригласил к себе в дом. Каково же было удивление и радость моего отца, когда данный адрес привел его как раз в заветный домик на Песках. Владимир Михайлович Ильинский оказался хлебосолом большой руки. Каждое воскресенье он приглашал к себе на пирог нескольких из своих сослуживцев или кого-либо из любимых знакомых, а вечером, ради отдыха от будничной службы поигрывал в карточки. Старик Ильинский давно овдовел и имел двух дочерей, обе были очень хороши собою, старшая - **Александра** - редкая брюнетка, заслужившая название мраморной красавицы, младшая - **Ольга** - блондинка с чудными голубыми глазами. Обе сестры выросли на попечении старушки-тетки, кончили воспитание в одном из петербургских пансионов и вели среди своей маленькой семьи самую скромную жизнь. Обе барышни были очень религиозны, и церковь была чуть ли не единственным местом, куда они выходили из дома.

В продолжении многих лет знакомства отец мой почти еженедельно посещал Ильинских по воскресеньям, но знакомство его с барышнями ограничивалось только созерцанием. "Придешь, бывало, к обеду", - рассказывал он, "барышни, всегда одетые в свеженькие белые платьица, выходят к столу. Старшая, Александра Владимировна, исполняла обыкновенно роль хозяйки. Но говорить с барышнями, трясти им руки, как это делается теперь, мы в то время не смели даже и подумать. После обеда, обыкновенно, они исчезали".

Так тянулись целые годы таинственного знакомства взаимно влюбленных, более близкому сближению которых помогла только церковь. Отец, узнав какой храм посещают Ильинские со своей тетушкой, стал путешествовать, то ко всеобщей, то к обедне и, предлагая свои услуги проводить, находил случай поговорить. Наконец, отец сблизился настолько с любимой им девушкой, что сделал ей предложение и обратился за решительным ответом к ее отцу. Но, Боже, какой отпор встретила юная парочка при столкновении с рассудительною опытностью поживших на свете людей. Старик Ильинский, прежде всего, указал отцу на юные годы, ведь ему едва кончился 21 год, а невесте минуло 17. Кроме того, он пояснил, что последняя, кроме отцовского благословенья не имеет никакого приданого, а жалованье гвардейского прапорщика равнялось тогда 150 рублям ассигнациями в год, так что парадный мундир его стоил гораздо дороже. На какие же средства предполагали существовать наши влюбленные?

Кроме того, старик с уверенностью заявил, что и родители моего отца без сомнения восстанут против такого безрассудного брака, и действительно он не ошибся. Дедушка мой, Алексей Григорьевич, не замедлил прислать письмо, в котором представил сыну своему все уважительные резоны, противоречащие задуманному браку. Доводы были слишком ясны, чтобы не согласиться с ними и, как не грустно было юной парочке, но пришлось до поры до времени покориться действительности. Однако, пылкое воображение не переставало стремиться к отысканию средств для достижения заветной цели. И вот, отец придумал обратиться с просьбою к нежно любившей его матери, чтоб уделяла ему часть своей пенсии ежегодно. Одной надежды на такой исход было достаточно чтобы наполнить восторгом жизнь наших мечтателей. Они с нетерпением ожидали ответа, но роковая судьба иначе устраивала их будущее. Письмо моего отца застало его мать уже на столе. Мавра Исидоровна скончалась в январе 1828 года. Велико было горе моего отца, тяжело было потерять любимую мать, тяжело было чувствовать, что последняя надежда рухнула.

Снова потянулись дни за днями, так прошло еще два года. Наконец, отец мой подал прошение об отставке и стал хлопотать о месте по гражданскому ведомству. Такой род службы мог более обеспечить его и дал бы возможность содержать семью. Но не тут-то было, и отставка не состоялась. 1-го декабря 1830 года неожиданно был объявлен поход в Варшаву по случаю бунта в Польше. Такой оборот дела как громом поразил отца, он никогда не мог равнодушно рассказывать о той величественной картине, которую представлял Император Николай I среди собравшегося войска, когда

он объявлял необходимость предстоящего похода. Да, этот поход окончательно решил участь моего отца, он стал фаталистом, благодаря такому роковому стечению обстоятельств, безмилосердно преследовавшему его в продолжении всей жизни.

Война и походы продолжались два года, подробное описание их можно прочитать в памятной книжке моего отца. Здесь же скажу, что в 1831 году он получил, наконец, увольнение от службы, но уже не мог и думать о гражданской службе, так как после похода окончательно расстроилось его здоровье, и больной едва добрался в имение отца своего, находившееся, как уже говорили, в Могилевской губернии. Вместе с ним туда поехал и друг его Василий Иванович Марков.



Упомяну теперь, что семейство деда моего А.Г. было очень большое. У отца моего было еще четыре брата и две сестры. Об одном из них, **Модесте Алексеевиче**, я уже говорила. Окончив курс в артиллерийском училище и выйдя в офицеры гвардии, он замечательно быстро двигал свою служебную карьеру, получая всевозможные знаки отличия, скоро достигнул генеральского чина и постоянно жил в Петербурге на широкую ногу вместе со своей семьей. Модест Алексеевич был женат на очень богатой девушке, некто **Скоробогатовой** (фото Скоробогатовой Надежды Платоновны - 1820-1899), имевшей до трехсот тысяч приданого. Упомянув о Модесте Алексеевиче, весьма лестно заметить, что он с детства был любимцем

покойного Государя Императора **Александра 2-го** (справа фото императора Александра II - 1818-1881), они были почти ровесники и, благодаря этому, дядю, как ученика артиллерийского училища, выбирали иногда для игры с малолетним наследником Александром Николаевичем. Это детская близость до того врезалась в память покойного Государя, что даже в последние годы своей жизни он не забывал осведомляться об артиллерийском генерале Вакаре при официальных встречах с другим дядею, Платоном Алексеевичем.



Платон Алексеевич (фото Платона Алексеевича Вакара - 1823-1899) был самым меньшой. При возвращении отца после войны он готовился к поступлению в Училище правоведения, куда и был вскоре определен моим отцом. Все время он рос на попечении своего старшего брата и считал его всегда за второго отца. Платон Алексеевич также довольно быстро пошел в гору по службе и ныне состоит главным членом Комитета по делам печати в С-Петербурге. Он женился на племяннице Маркова. Это парочка и теперь, после 35-летнего союза представляет редкий образец супружеской нежности.



Третий брат моего отца, **Александр Алексеевич** (1807-1865), окончив курс, служил в Сибири и оставался холостяком до 50 лет. Возвратясь на родину в чине статского советника,

поддался влиянию окружавших его лиц и женился, по увлечению, на помещице-польке Сокульской. Но брак этот был не особенно удачный, и Александр Алексеевич умер раньше всех братьев, оставив двух малолетних дочерей. Александр Алексеевич после смерти отца взял по согласию всех братьев родовое имение Лешно, выплатив другим наследственную часть. Теперь дочери его получили это имение.

Четвертый брат, **Михаил Алексеевич** (1809 - после 1884), отстал от всех по службе, он был почтмейстером в городе Сураже Витебской губернии и женился тоже на польке Анне Захаровне Галько. Счастливо, хотя и в бедности, прожил с нею много

лет, имел двух сыновей **Антон** и **Феликса**. В настоящее время этот дядя живет в нашей семье.

Сестры отца моего получили хорошее домашнее образование. Меньшая из них **Елизавета Алексеевна** (до 1811- до 1854) вышла замуж за своего однофамильца доктора **Вакара** (? - до 1858), но прожила недолго, оставив мужу пять человек детей: три сына и две дочери. Несмотря на очень ограниченные средства, благодаря своей мачехе дети получили очень хорошее воспитание и образование.



Судьба старшей сестры отца **Екатерины Алексеевны** (фото *Екатерины Алексеевны Вакар* - до 1810-1883) устроилась весьма оригинальным образом. В неё влюбился друг моего отца **Василий Иванович Марков**, никогда не видел её, исключительно по письмам сестры к брату. Чувство его было так серьезно, что он заочно решился сделать ей предложение, быв сам уже вдовцом. Но отец мой, имевший на него большое влияние, расстроил это намерение, сблизил его с другою девушкою, уговорил даже жениться. Однако ненадолго связал он своего друга.

Вторая жена **Василия Ивановича** умерла через полгода после свадьбы, и тогда он, несмотря ни на что, уехал в Лешно вместе с отцом моим, получившим отставку после войны, сразу сблизился, с тою, которую любил заочно, и вскоре женился на ней. Марковы счастливо прожили много лет в Петербурге. Одно горе преследовало их - это смерть детей. Пять человек умерли у них в пяти-семи-летнем возрасте. В настоящее время любимая единая тетка моя, лучший стареющий друг, выше упомянутый, уже давно овдовела и живет в С-Петербурге во вдовьем доме. Вот вся краткая биография семьи Вакаров. Теперь возвращусь к дальнейшему повествованию об отце.

Прибыв в имение Лешно, он отдыхал в родном гнездышке и, поправив несколько свое здоровье, стал по возможности помогать в хозяйственных делах. В это время у него возникло много знакомств с соседями. Все благосклонно относились к скромному дельному красивому поручику. **Алексей Григорьевич** советовал сыну устроиться самостоятельно, избрав достойную подругу жизни среди богатых помещиц, но ни деньги, ни красота, ни расположение, выказываемое самими невестами, не могли подкупить застрахованного от новых чувств. Так прошло два года. Наконец, отец, видя что ни деревня, ни он, не приносят взаимно существенной пользы друг другу, решился снова хлопотать о должности в Петербурге. В 1834 году старания его увенчались успехом. Он получил место помощника инспектора С-Петербургского университета на 400 рублей жалованья ассигнациями при готовой квартире.

В это время в семействе **Ильинских** случилась перемена: меньшая из сестер сделала блестящую партию, выйдя замуж за придворного доктора **Викентия Петровича Добровольского** (1790-1853). Комфорт и довольство окружили юную девушку. Больно было отцу подумать, что он не может предложить того же старшей сестре, не привыкшей к лишениям, однако он снова делал попытку получить согласие старика **Ильинского** даже при посредстве его богатого зятя, но все старания были тщетны.

Между тем, **Марковы** поселились в Петербурге, отец часто бывал у сестры и встретил там однажды соседку по имени Лешно, некто **генеральшу Каховскую**, приехавшую в столицу за дочерью своею **Анною**, кончившую девятилетний курс в Смольном монастыре. Скромная, задумчивая институтка понравилась отцу, и он радовался, что меньшая сестра его **Елизавета Алексеевна** будет иметь такую прекрасную подругу в ближайшей соседке своей. Предположение отца сбылось, **Анина Каховская** сблизилась действительно с **Елизаветой Алексеевной**, а семейные обстоятельства, несмотря на всю скрытность институтки, заставили ее найти в доброй соседке истинного друга. **Генеральша Каховская** была уже пожилая дама, закоренелая

полька, но замуж вышла за знаменитого генерала Каховского, домовладельца и Могилевского помещика. **Пётр Демьянович Каховский (1769-1831)** был храбрый русский генерал, в 12 году он отличился на войне, уцелел, благодаря фамильному древнему образу скорбящей Божьей Матери, охранявшему его грудь. Роковая пуля ударила прямо в грудь, но, согнув золоченую ризу, отскочила, не причинив вреда.

Каховские имели трех сыновей и двух дочерей, один из сыновей ещё мальчиком умер в корпусе, другой **Иосиф (?-?)** жил лет до сорока и умер, оставив единственного сына **Дмитрия (1855-?)** круглым сиротой. Благодаря этому, бедный, очень добрый мальчик рос, как попало, не кончил образования, привык выпить и сохранил в себе только врожденную храбрость, увлекаясь которой вышел из гимназии и поступил вольноопределяющимся. Во время последней турецкой войны дрался геройски под Карсом, взял пушку среди огня неприятельского, и, не быв раненым, возвратился георгиевским кавалером, чем, видимо, дорожит. Жаль этого юного честного гренадера-героя, жаль, что не в силах он пробить себе иную дорогу, жаль, что так гибнет единственный потомок Каховских. Говорю единственный, потому что третий из сыновей генерала, **Павел Петрович (?-1877)**, хотя и был женат, но имел только трех дочерей. Не могу утерпеть, чтоб с восторгом не упомянуть об этом замечательном семействе.

Дядя мой, Павел Петрович, всего только четыре года как умер. О нем я не стану распространяться. Он дослужился до генеральского чина, мог бы жить прекрасно, но, благодаря своей страсти к картам, не только сам не обеспечил свою семью, а даже не сберег пятнадцатитысячное приданое своей жены, довел детей и жену до крайней нужды, а сам не знал, куда бежать от кредиторов. В этом бедственном положении еще лучезарней выступал тип любящей матери. Жена Павла Петровича, **Елизавета Петровна**, урожденная **Светлова (?-?)**, представляет, по моему мнению, образец настоящей матери. Это женщина, глубоко любившая мужа, всю жизнь свою посвятила детям и, несмотря на хорошие средства в начале своего супружества, она не допустила никого вмешиваться в воспитание своих детей, она сама вскормила их, сама вынянчила, сама готовила в гимназию, и жаль, что только одна из дочерей успела кончить полное образование с университетским дипломом. Такое отношение к детям водворило замечательно тесный союз в этой семье. Мать и дочери, право, представляют нечто единое, они не могут дня прожить врозь, нет той мысли, которую бы они не сообщили друг другу. Мать насквозь знает душу своих детей, она истинный друг их, но зато и дети готовы лечь в могилу за свою родимую питомицу. Они даже отказываются от замужества из боязни разлуки. Горе, нужда, всё переносилось и переносится вместе, и ничто не страшно им в этом священном союзе.

Дочери старика генерала Каховского, как примерные семьянинки представляют собою такой же образец достойных матерей, но старшая из них **Ольга Петровна (?-?)** не долго пожила после смерти своего мужа, мать отдала ее замуж за поляка **Лыщинского (?-?)**, принудив предварительно переменить православное вероисповедание на римско-католическое. Горькая жизнь выпала на долю этой бедной, покорной девушке, единственную отраду находила она в двух детях своих: дочери **Екатерине (?-?)** и сыне **Жорже (?-?)**. Но недолго пользовались они ласками матери, которая перешла в вечность, оставив их еще маленькими на попечение бабушки. К этому времени меньшая дочь генеральши Анина Каховская, про которую я уже говорила, окончила уже курс и, прибыв домой, приняла под полное свое ведение осиротевших племянников. Впоследствии участь этих сирот сложилась очень неблагоприятно. Чтоб не возвращаться после, упомяну кстати об этих родных.

Егор Егорович Лыщинский (?-?) вырос хорошеньким нежным мальчиком, получил образование, но увлекся патриотическими идеями, не остерегался в выборе знакомых и ни за что ни про что улетел в 63-м году в Сибирь. Через 15 лет он возвратился оттуда неузнаваемый. Чего только не вытерпел этот несчастный, какого черного труда не испытал (не стар, а сед, не мот, а нищий). Все громадное состояние

ухнуло во время его отсутствия. Сестра Жоржа, Екатерина Егоровна Лыщинская (?-?), была образованной и очень умной, красивой девушкой. Она вышла замуж за богатого помещика Казимира Казимировича Рогоза (?-?), но странно вели они свои дела, оба любили барствовать, любили широко пожить, соря на все стороны деньгами, тогда как дети оставались без всякого образования, а их было немало, - 10 человек.

Финал этого барства ужасен, настало полное разорение, кредиторы уже угрожали выгнать бывших владельцев из последнего приюта, который они занимали, Екатерина Егоровна безнадежно захворала, не могла больше ездить в Петербург, где кое-как устраивала дела, благодаря своей энергии и уму, муж же ее окончательно упал духом. Однажды Екатерина Егоровна почувствовала себя так худо, что призвала всех детей, чтоб благословить их, простилась и стала кончаться в объятиях дочери, еще вздох и ее не стало бы, но в эту минуту в комнату вбежал меньшой сынок со страшным криком: "Боже мой, Боже мой, бегите скорее, папа повесился, я увидел в окно". Умиравшая ожила, велела тереть себя щетками. В то же время такая же операция производилась над ее мужем, оба были возвращены к жизни, но первая прожила только сутки. После смерти жены Рогоза долго стремился покончить с собою, за ним тщательно следили дети, однако через год, быв в Москве по делам, он снова повесился в гостинице (о чем писали в газетах). Но половой подоспел вовремя, и опять успели спасти горемыку. Несколько лет спустя, он, наконец, умер своею смертью. Старшие дети его умерли от чахотки, а остальные сироты разбрелись по белому свету.

Однако, пора возвратиться к прерванному повествованию жизни и деятельности Анины Каховской. По приезде своём из института домой она приняла на полное попечение сирот-племянников и отдалась их воспитанию всей своей любящей душой. Но, к сожалению, на этом пути стояло еще другое лицо, более близкое к детям, то был их отец. По рассказам, Лыщинский был человек грубый, чрезвычайно несимпатичный и нахальный. Благодаря родственной близости, он не замедлил обратить внимание на юную институтку, и скоро ей не было покоя от его навязчивых преследований. Старушка Каховская не имела ничего против ухаживаний зятя, и бедная девушка, чувствувавшая отвращение к нахальному ухаживателю, находила отдых только у доброй соседки своей Лизаветы Алексеевны (Вакар).

Наконец, родной претендент зашел так далеко, что сделал предложение, сильно влияя на свою тещу, добился того, что последняя стала убеждать и даже требовать от кроткой несчастной Анины согласия на брак с ненавистным ей человеком, причем ей предписывалось переменить православную веру на католическую. Как то, так и другое, не соответствовало ни убеждениям, ни чувствам девушки, бедняжка страдала, не зная как найти исход, и наконец, окончательно потеряла голову, когда мать с угрозой объявила, что назначает ей на размышление три дня, после чего необходимо дать утвердительный ответ жениху. Недоумевая, что предпринять, несчастная вырвалась к подруге своей в Лешно, но не решалась по своему характеру поделится с ней безысходным горем. Однако, Лизавета Алексеевна заметила необычайное настроение своей любимицы и пристала к ней с расспросами и утешениями. Нервы не вытерпели, бедняжка невольно разрыдалась и, рассказывая свое тяжкое горе, дошла до истерики. Среди беспамятства и несвязных речей Лизавета Алексеевна услышала произнесенное имя "Поль". Это поразило ее. Она стала додумываться, к кому относилось это имя и, инстинктивно угадав, решилась прибегнуть к содействию своего старшего брата, зная, как горячо умел он сочувствовать горю других, как возмущался всеми несправедливостями.

И вот, отец мой в одно прекрасное утро получил большое послание с чужою исповедью от имени сестры. Господи, как он возмутился всеми описываемыми обстоятельствами, невольно оценив привязанность достойной симпатичной девушки. Он глубоко призадумался, как быть, и, наконец, решился во что бы не стало спасти ее. Он видел в образе Анины не столичную красавицу, а девушку, привыкшую к монастырской жизни на щах и каше, следовательно такую, которая примирится с

экономной жизнью. Сам он имел теперь небольшие средства к существованию, годы его были настолько зрелы, что продолжать действительно монашескую жизнь было уже тяжело, окунуться же в безнравственный омут отец не мог по своим убеждениям. И вот, он решился написать об этом той, которую не переставал любить десять лет, после чего укатил в Лешно и скоро осветил истинным счастьем горизонт достойнейшей из девушек. Мать Анины с удовольствием согласилась на брак ее с моим отцом, так как он был по счастью католик и имел положение в свете, следовательно, вполне соответствовал её вкусу.

В Августе 1843 года состоялась свадьба. Молодые приехали в Петербург, но столичная жизнь не была для них ареной различных удовольствий, которыми она слывет для всех жаждущих разнообразия и обладающих толстым карманом. Наши молодые не забывали, что все их средства заключаются в труде моего отца, который не отличался особенным здоровьем, помнили они и то, что в жизни не все красные деньки, а главное, отец, став семьянином, дал себе слово, что лучше сам никогда не возьмет извозчика, никогда не бросит рубля на пустое удовольствие или прихоть, а употребит все крохи для того, чтоб не оставить нищими своих детей. Он считал священным долгом материально обеспечить тех, кому дал жизнь.

В силу этого отец стал изыскивать честные средства к увеличению своих заработков. Не говорю о том, что он сам принял на себя хозяйство, сам ходил на базар (положим, этим руководила не одна расчетливость, а также и ревность, в силу которой отец никуда не пускал жену одну), сам записывал и рассчитывал каждый грош, но, кроме этого, он расширил свой круг, устроив у себя в квартире пансион для студентов. Он брал к себе молодежь на полное содержание и некоторых готовил к университетским занятиям.

Через год у них родился первый сын, который внес столько радости, столько жизни в уединенный семейный уголок! Впоследствии отец мой имел еще сына и дочь, но вся эта первая троица недолго утешала их. Год, два, три - и малютки умирали, горе матери для которой дети и муж составляли все, было неизъяснимо. Даже после рождения четвертого малютки, Алеши, она не успокоилась, дрожа постоянно за его жизнь. Наконец, советы умного врача помогли неопытным родителям сохранять своих



маленьких детей, доктор приказал как можно дольше кормить малюток грудью, уверяя, что все детские болезни легче переносятся грудными детьми. Этот совет оправдался, **Алеша** (фото *Алексея Павловича Вакара - 1841-1909*) рос молодцом, а через год после него появился и другой хорошенький мальчик **Поль** (1842 - после 1884). То был любимец матери, его одного она сама кормила, но это послужило ему во вред, так как мать была очень золотушна и передала ребенку вредные соки, в силу чего малютка отличался широким и крепким телосложением в мать, но долго ходил с кривыми ножками и только рыбий жир выпрямил его.

По характеру мальчики совершенно отличались друг от друга. Алеша - кроткий, безответный, подобно матери. Павлуша - бойкий, горячий, остроумный, упрямый мальчик. Он постоянно держал верх над старшим братом, часто подвергался строгим наказаниям отца, находя защиту в нежной матери, которая души не чаяла в своих крошках. Им она отдавала всю жизнь свою, не бывая решительно нигде, только изредка посещала она оперу, где муж имел инспекторское кресло, но скоро и это стало невозможным, так как здоровье ее надломилось окончательно. Страшно говорить о тех физических, а вместе с тем, конечно, и нравственных страданиях, которые выпали на долю этой несчастной, добродетельной женщины.

Петербургский климат, вредивший ее золотушной комплекции еще с детства, окончательно размягчил ей кости, сперва страдания ограничивались огромными

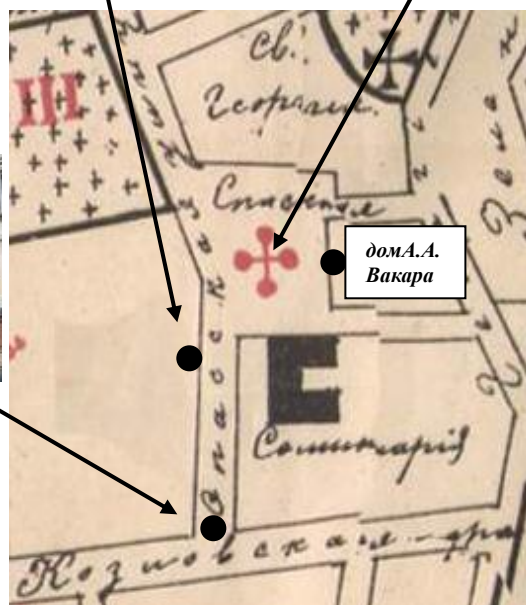
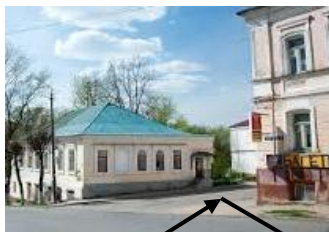
нарывами на теле, потом появилась некоторая сутуловатость, и при пятых родах, после неосторожного купания во время беременности, спина не вынесла, позвоночный столб согнулся внизу хребта и впоследствии дошел до перелома. Несчастливая уже не могла ходить без металлического корсета, не могла сидеть без особо принаровленного кресла, но, несмотря на все эти муки, она не забыла обязанностей матери, и вся отдавалась воспитанию подраставших мальчиков.

То были прелестные дети, они обожали свою мать и с удовольствием учились, так, что одиннадцати лет оба поступили во второй класс гимназии, хорошо зная иностранные языки и отлично продолжая курс наук при помощи родной руководительницы. Но образование мальчики получили уже не в столичной гимназии. В **1848** году отец безнадежно захворал, у него отнялись ноги от ревматизма, кроме того, двухмесячная бессонница окончательно истощила его силы, доктора приговорили его к смерти, но все-таки приписали немедленно выехать из Петербурга. Много труда стоила эта перемена положения. Получив отставку с пенсионом в 400 р., разбитый труженик двинулся из столицы сперва к овдовевшей сестре Екатерине Алексеевне в местечко Бабиновичи, где жил и старик Алексей Григорьевич, отдав Лешно в аренду, потом отец переехал в имение тещи своей. Бабушка была рада приезду внуков, но разместить всех гостей, притом больных, оказалось ей в деревенском доме неудобно. Погостив некоторое время, родители мои переселились к дедушке Алексею Григорьевичу, оттуда отец ездил лечиться на воды. В особенности же ему помог знаменитый доктор **Бриллиан**, он спас его от неизлечимой бессонницы холодными ваннами, куда опустили его в первый раз на простыне, как расслабленного, вызвав, наконец, дремоту и глубокий сон сперва на одну минуту. Восстановив несколько свои силы, отец решил переехать на постоянное жительство в губернский город, где определил сыновей в гимназию.

Сперва родители мои жили по квартирам, а потом приобрели у князя **Друцкого-Соколинского** прекрасный большой дом на углу Козловской горы и Спасской улицы (ныне - угол улицы Ленина и ул. Революционная, фото внизу). На плане



Смоленска 1898 года также отмечен дом родственников мамы Юлии Павловны Вакар, т.н. "дом Каховских" (ул. Революционная д.16, фото сверху), церковь, где венчалась Юлия Павловна (ул. Революционная д.13, фото сверху) и дом Александра Алексеевича Вакара на Спасской улице (площади). В начале XX в. здесь жил, а потом приорел в собственность Платон Алексеевич Вакар (племянник Ю.П. Вакар).



Тут в 1854 году родилась я, несмотря на

страшную болезнь матери, заставившую меня развиваться под упругими тяжелыми планшетами металлического корсета. Бедной маме пришлось еще раз пострадать, но зато исполнилось заветное желание: у нее снова была дочь, и к моему утешению я легче всех появилась на свет. Ну да и не мудрено, так как рождение было преждевременное, да и условия для физического развития не благоприятствовали. До шести недель никто не слышал моего голоса, маму это очень беспокоило, и только

всевозможные приметы кормилицы утешали больную. "Будет жить", - пророчила Дарья. И слова ее действительно осуществились, но не выпало на мою долю счастья расти среди попечений любящей и нежной матери. Моя многострадальная мама могла только молиться за меня, могла любоваться только на свою крошечную, желанную дочку, а на руки взять никогда не могла, вследствие усилившейся болезни спины.

Через шесть недель меня крестили. С этого дня я перешла на попечение новой воспитательнице, моей тете Екатерине Алексеевне. Крестным отцом моим был родной дядя папаши Феликс Григорьевич Вакар. Единственная тетка моя, сестра отца Екатерина Алексеевна Маркова согласилась, окрестив меня, переселиться, чтобы заменить единственную хозяйку и мать для нас полусирот, еще при жизни больной. Дедушка Феликс Григорьевич, получив на войне нелегкую рану, контузив глаза, вышел в отставку, и вследствие несчастной женитьбы на пылкой ветреной молдаванке, принужден был уединиться и также остался жить у нас.

При первой молитве над младенцем священник, по желанию матери, дал мне имя Надежда, но вскоре получено было письмо от бабушки Екатерины Петровны Каховской, которая умоляла назвать ее внучку польским именем (у католиков день этой святой Юлии празднуется 16 февраля). Мать уступила просьбе бабушки. Прошло три года. Новорожденная подросла, бойко бегала и, говорят, начинала лепетать по-французски, сидя на кровати обучавшей ее больной матери, которая до последнего дня жизни не переставала делиться познаниями своими с любимыми детьми. Я ничего не помню из этого отдаленного периода жизни. Вот - одна только картина, врезавшаяся в детском воображении и сохранившаяся до сей поры в моей памяти: огромный знакомый мне зал, но странно, зачем посередине поставлено что-то большое, мешающее мне бегать, а вот еще новость: в углу днем горит огонь (у нас никогда не зажигали лампадки, да и в церковь меня не носили). Живо, как сейчас, вижу маленький угольный стол, на нем блестящий золотой Боженька, а перед ним маленький стаканчик с огоньком, какая-то черная женщина стоит тут же и все говорит, все говорит. Перед лампадкой стоял блестящий образок... Это все, что у меня осталось от матери, - ее святое благословение фамильным образом скорбящей Божьей Матери, спасшим некогда деда на войне. С первой минуты сиротства мой детский взор остановился и навсегда запомнил этот единственный завет матери.

Итак, 10 февраля 1857 года мы осиротели. Страшно отозвалась эта перемена в семье. В особенности, ее почувствовали мальчики. Поль потерял свою нежную заступницу и, говорят, ужасно тосковал, маленькая же сестренка их не унывала, ей хорошо было под крылышком нежной Тети-Мамы и старика дедушки, которые сосредоточили на ней избыток чувств, не находивших удовлетворения в своей собственной жизни. Меня все любили, дедушка целые дни играл со мною и очень баловал, без Тети-Мамы я жить не могла, братья развлекали по вечерам историческими рассказами, а Папа раза два в неделю утешал меня нравоучительными повествованиями на детском языке, и это, как редкость, было для меня высшим наслаждением. Тетя-Мама каждый вечер выслушивала исповедь всех моих действий и помыслов. Благодаря такому образу воспитания, жизнь моя слагалась правильно и катилась как сладкий сон.

Когда мне минуло четыре года, то решили начать мое ученье, и с этою целью приняли в семью 16-летнюю кузину мою, круглую сироту, дочь Елизаветы Алексеевны (Вакар). Девочка получила прекрасное образование и воспитание под руководством умнейшей мачехи своей, - немки. Эту первую учительницу мою звали **Олимпией Яковлевной Вакар (1842-1913)**. Она скоро расположила меня к себе своею музыкою и пением (Оля была артистка в душе и училась в консерватории). Скоро и я стала немочкою, пела немецкие песенки и даже с куклами разговаривала по-немецки. Живо проносится передо мною воспоминание далекого прошлого, ознаменовавшегося весьма оригинальным сном, сном, который я не забуду никогда,

но трудно поверить, чтоб он мог отчетливо так врезаться в память. Странно даже, как мог таковой возникнуть в пятилетней головке, одним словом, этот факт поражает меня всю жизнь, удостоверяя, что сновидение, или вернее, сон, - есть великая загадка, решение которой принадлежит будущим поколениям.

Я помню отчетливо нашу общую спальню, за ширмами спали мальчики, я же у другой стены, близ печки, в углу был киот с моим заветным образом. Заснула я мирно в своей кровати и вижу во сне свою большую бледно-голубую залу. Странно, вся она пустая, только в углу у окна стоит большое вольтерово кресло, а на кресле сижу я, но не маленькая, а большая, совсем взрослая (и представьте, я помню лицо, помню, что видела себя именно такую, какова я теперь на самом деле). Надето на мне розовое платье, а на голове светится лесная бриллиантовая звездочка, сижу я и гляжу в окно. На Козловской горе такой шум, что страх, вся улица запружена войском, пушками, небо все в огне и дыму, знаю что это война, но я спокойна и чего-то жду. Вдруг отворяется дверь из прихожей, и входит юноша небольшого роста, длинные черные курчавые волосы окаймляют его черты. Запомнила я только профиль его. Подходит эта личность ко мне и предлагает руку, я спокойно взяла эту руку и пошла на борьбу.....! Видела ли я еще что-нибудь, не помню, но только я стала громко кричать и плакала навзрыд. Няня не знала что ей делать со мной. Помню, как она держала меня на руках у киота, зажигая свечу и показывала на мамин образ, говоря, что Боженька не даст меня никому в обиду. Видно я рассказала ей чего испугалась тогда во сне.

Миновала эта беспокойная ночка, и дни мои снова потекли за днями. Все шло своим чередом, одна только неудача преследовала меня - это выбор знакомых. С кем бы родные не познакомились, на мою долю в семействе не оказывалось девочек, и всегда меня окружал целый штат мальчиков. Наконец, напротив поселились новые соседи, некто **Пирамидовы**. Там нашлась компания для всех: взрослая дочь их соответствовала моей кухне Оле, два мальчика могли сблизиться с братьями, и на мою долю оказалась пятилетняя **Варенька**. Это новое знакомство скоро не только стало приятным для всех, но повлияло даже на дальнейшую судьбу нашей семьи. Узнали, что мадам Пирамидова - подруга Анины Ильинской, и вот, через столько лет заветные воспоминания воскресли среди дум моего отца. Ему сообщили, что верная невеста его не вышла замуж и хорошо помнит своего жениха.

Возобновилась переписка с Петербургом. Оказалось, что Ильинская похоронила отца, тетку, сестру, зятя и живет с воспитанником, своим единственным племянником от сестры, перешедшим на ее попечение еще с годовалого возраста. Александра Владимировна свято исполнила этот долг родной воспитательницы, но в ту минуту, когда возобновились ее сношения и давнишнее знакомство, сама судьба толкала ее в Смоленск. Единственный племянник ее умирал в чахотке. Доктора приказали ему ехать в сосновые леса, и хорошие знакомые предложили к его услугам свое имение в Смоленской губернии, куда тетка и отправилась одна, чтобы предварительно осмотреть местность и все устроить. Как теперь помню мое удивление, когда меня позвали знакомиться с новой петербургской тетею, и сказали что она будет моею мамою. Никак не могла я уяснить себе такого превращения, всех спрашивала, действительно ли это возможно, но видя ласковое обращение отца с новою тетею, и узнав, что она привезет с собою хорошеньких собачек из Петербурга, я предалась мечтам о новой жизни, отнюдь не воображая, что лишусь прежней.

Отец, считая себя личным должником и желая поручить сирот материнским заботам, возобновил своё предложение уже 50-летней невесте, говоря, что он имеет средства к обеспечению её и семьи. Романическая свадьба через 33 года была назначена осенью, но прежде чем она состоялась, было еще маленькое препятствие. Больной племянник Ильинской, **Владимир Викентьевич Добровольский (?-1860)**, умер, не доехав в деревню, а тетушка его вдруг стала богатой невестой, так как по завещанию юного покойника ей достался 60-тысячный дом в Петербурге. Отец после такой перемены немедленно отказался от брака, говоря, что не желает допустить

толки о возможности брака по расчету, и едва после долгих убеждений согласился поступить по первому решению, но с условием, что он сам будет содержать всю свою семью и знать не хочет о том, куда и как будет тратить свои средства жена. Так сказано, так и было всегда.

9 Сентября 1860 года в сельской церкви нашего имения по Московскому шоссе была свадьба. Кроме родных никто не присутствовал, а я дома ожидала папу с новой мамой, держа хлеб-соль (я забыла упомянуть ранее, что отец еще для здоровья покойной жены купил прелестное имение в 10 верстах от города.

1860

1860 год был полон перемен: во-первых, у меня явилась новая мать, во-вторых,



старший брат Алеша кончил курс гимназии и, несмотря на горячее желание поступить в университет, определился прямо на службу, потому что отец ни за что не пустил его в университет. Как бывший инспектор его, он предвидел и предсказывал университетские бунты, боясь которых, дал себе слово не допускать детей до этого высшего образования. В этом же году из Петербурга приезжал в первый раз дядя мой Платон Алексеевич. Он, как ученик Гензельта, пришел в восторг от музыки Оленьки и решил, что глотнуть таланту в провинции грешно, после чего увез ее в Петербург, где она через несколько лет вышла замуж за полковника **Цытовича** (фото Цытовича Платона Степановича - 1833-1894). Вот - прелестная парочка, оба артисты, сошлись во всем так, что просто удивительно, скоро

20 лет как они женаты, а счастье их всё растет и растет, прелестная группа детей окружает их, но судьба далеко занесла мою первую учительницу, Цытович ныне состоит директором военной гимназии в Омске.

Улетела моя родная учительница, и вот для меня нашли постороннюю, но не долго побыла она, не умев справиться с живою девочкой, которая не замедлила проткнуть себе небо зонтиком и проболела целый месяц, потеряв возможность не только есть, но даже говорить, так что питали меня только молоком и бульоном. Между тем, в семье пошел разлад с двумя старыми хозяйками. Тетя-Мама охала, охала и решила уступить свое место вполне, тем более, что другая любимица ее, Оленька умоляла приехать в Петербург и жить вместе с богатыми братьями (Модестом и Платоном Алексеевичами). Господи, какое горе настало для меня. Неутешно плакала я, провожая свою золотую Тетю-Маму, плакала, не зная еще, что значила эта перемена. Остался у меня один баловник - старичок- дедушка. Крепко любил он меня, чего только не делал он для своей крошки, но годы брали своё, и родной старичок перестал видеть любимую внучку, стал уже плохо слышать ее голосок.

Между тем, Поль отлично кончил курс гимназии и поднял целый бунт против отца, когда встретил нежелание пустить его в университет. Нашла коса на камень и с треском и шумом, а взяла-таки свое. Начали искать попутчика для юного вояжера. Таковым оказался капитан **Александр Степанович Воронец** (?-?), с ним Поль покати в Москву. Лишилась я заботливого брата своего, но Бог с ним, радость освещавшая почти детское личико его, когда он, садясь на высокую повозку, посылал мне воздушные поцелуи до сих пор представляется в моей памяти. Тяжко только то, что неудачна была эта поездка, потребовавшая такой лютой борьбы. Поль в 17 лет был совсем ребенок, он свято помнил все правила нравственности, внушенные ему еще матерью, он проникнут был патриотическими идеями своего отца и видел весь мир в самых радужных красках, а сам, увы, был знаком только с 4-мя стенами дома и гимназии.

Приехав в Москву, он сейчас же поступил в университет, куда и поспешил отправиться на первые лекции. Каково же было его удивление, когда, однажды, вместо профессора он увидал на кафедре юношу, энергично кричавшего на всю залу и взывавшего к бунту. Молодежь увлеклась, бунт был в самом разгаре, когда полиция, призванная остановить его, стала задерживать всех без разбора. Поль без шапки убежал на квартиру и бился в нервной лихорадке под кроватью несколько часов, но страх его этим не ограничился. Беднягу нашли и повели на расправу, которая, благодаря его очевидной невинности и робости, окончилась легким допросом. Что же касается до последствий того нравственного потрясения, которое вынес одинокий неопытный юноша, то до него конечно никому не было дела.

Однако Поль скоро ободрился и помня, что свет ведь не клином сошелся, обратился письменно к своему богатому дядюшке Модесту Алексеевичу, умоляя его убедить отца, чтоб дал ему средства добраться до Петербургского университета, так как Московский закрыли. Добрый дядя достиг этого желанья, предложив брату взять его сына на полное содержание к себе, пока он будет продолжать свое образование. Отец выслал Полю деньги на дорогу, и скоро брат мог снова считать себя счастливым, очутясь в университетском городе под родным кровом на редкость нежного и любящего дяди. Но сфера, в которую попал наш птенчик, поистине достойный прозвища "красной девушки" до того отличалась от прежней домашней, что он сразу должен был чувствовать себя как в чаду: вместо скромного помещения кругом него царил блеск и роскошь богатого генерала. Собственные рысаки важно носили его по бурным улицам столицы, постоянное общество знакомых заполняло салоны. Танцевальные вечера окончательно вскружили голову пылкого юноши, который сам не знал, что с ним делается и только любовался на себя в щегольском костюме, подаренном дядею.

Попечения последнего не ограничились этим. Юноше предложено было посетить клуб, который был постоянным вечерним магнитом дяди, а на возвратном пути от него и другие увеселительные заведения, будто бы необходимые для пылких натур. Но наша "красная девица" ужаснулась при таких предложениях и, открестившись чуть ли не седьмою заповедью, прельстилась только бильярдом. Поль не замедлил обратиться к главной цели своей: к храму желанной науки. Но, увы, на этом заветном пути стояла новая преграда, - вход в Петербургский университет оказался только что запечатанным по случаю и здесь возникших беспорядков. Поникла головушка жаждавшего знания, но нужно было покориться и ждать... ждать, но где ждать желанного рассвета, - среди окружавшей чада жизни свободной, или стесненной домашней среды, возвратясь в которую, пожалуй, и не вырвешься? Конечно, выбор остановился на первом. И долго кружилась пылкая головушка среди светской жизни, разжигаемая кокетством милых барышень... а книжки лежали далеко... университетские стены, которые некогда были свидетелями рождения и крещения маленького Поля, стояли теперь как бы мертвые, не допуская юношу под свой серьезный кров.

Наступило лето, и Поль уехал вместе с семейством дяди в его имение, находившееся в Новгородской губернии. Как проводил он там свои дни среди романтической весенней и летней природы, не знаю, и надеюсь пополнить этот пробел со временем, когда воспользуюсь рассказом кого-нибудь из старших членов "семьи" дяди Модеста Алексеевича, В настоящую же минуту перенесусь снова к своей жизни и расскажу, как возвратился Поль домой.

1862

В 1862 году мы, по обыкновению, проводили лето в своем имении Горбунове, что на Московском шоссе, в 8 верстах от Смоленска. Хорошо было мне там среди

прелестной живописной природы, огромного фруктового сада, вольного леса с чудным хором птичек, массой грибов и ягод, за которыми позволялось ходить даже в компании одного баловавшего меня дедушки, уже почти слепого. Но этому детскому раздолью мешала личность, поселившаяся в нашей семье в роли гувернантки. То была горячая 19-летняя, хорошенькая девушка-немка, сумевшая очаровать всех, начиная с родителей и кончая прислугой. На глазах этой молодой девушки у нас в семье стали происходить довольно крупные сцены ревности.

Старик-отец, несмотря на весьма солидные годы свои и женины, не мог уgomонить ревнивые чувства свои, и видя в жене прежнюю красавицу, встречающуюся со старыми знакомыми своими, каковым был, например, **Пирамидов**, преследовал ее подозрениями и доводил до отчаяния и слез. Долго не знали, кто мог передавать ревнивцу содержание пустых разговоров, возникавших между Александрой Владимировной и знакомыми при встрече с нею в церкви, куда сопровождала только маленькая Юля? Сочувствовавшая мачехе гувернантка открыла, наконец, что невольною причиною семейных бурь и была никто иная, как откровенная девочка, которая, по внушению, с малолетства не умела лгать и на вопросы отца "кого они видели в церкви и кто подходил к мачехе?" не считала нужным скрывать свои детские впечатления, пока над ними не нависла черная туча.

М. Фиденберг, так звали нашу гувернантку, сделав открытие любопытного источника ссор, задалась целью во что бы то ни стало отрезать дочь от отца и укротить ее язычок навсегда. Подкараулив меня раза два-три, она в пылу не поцеремонилась прибить ребенка, вполне доверенного ей, но приняв такие меры, конечно, навсегда лишилась моего прежнего расположения. Замолчать-то я замолчала, но не только перед отцом, а и перед нею; привыкшая только к ласке, я не покорила, имея самолюбивый настойчивый характер. С этой минуты я перестала учить уроки и, несмотря ни на какие угрозы и побои, не отвечала учительнице ни слова из заданных уроков, сиди она в классе хоть 5 часов, бей - сколько хочешь, а я закрою, бывало, глаза и как истукан просижу все время молча, или плача от боли. Мало помалу, память механическая у меня, должно быть, притупилась, к тому же теперь, зная несколько педагогику, вижу, насколько нелепо обучали меня. Одним словом, ни охоты, ни возможности усвоить что-либо помимо зубрежки не имелось и не возбуждалось. Диктовки по трем языкам давали до 40-50 ошибок, искоренить их не хватало умения, и вот за каждую из них пошла плясать по бедной детской головушке большая желтая линейка.

"Notre maitre" (*наш учитель*) - говорили мы, бывало, приготовляя все к классу. Как уцелела моя головушка после такой школы, одному Богу известно, видно он ограждал сироту от напасти. Чтобы не было скучно, Папа взял мне для компании девочку, крестницу Тети-Мамы моей, некто **Оленьку Воейкову**, но бойкое дитя, имея родную мать, не поддавалось пытке ученья. На побои она отвечала побоями т.е. по примеру воспитательницы швыряла то грифельную доску, то книгу в гувернантку, либо дразнила ее языком. Жалобам же наставницы могли верить у нас, но не родная мать Воейковой, которая скоро и взяла свою дочь. Однако эта хорошенькая девочка принесла мне вред, передав одну из самых гнусных привычек, сознать вред которой мне удалось довольно скоро, благодаря чтению.

Тогда мама моя выписала из Петербурга свою крестницу и двоюродную племянницу некто **Сашеньку Горбунову**. Эта девочка, хотя и имела родителей, но отданная вполне под надзор крестной, без возможности сообщить своим о дурном обращении с нами, невольно покорила вместе со мною горькой участи, длившейся 4 года. Однако, бывши лет 10-ти, я дошла до такого остервенения, что предложила Сашеньке заговор об убийстве мучительницы нашей, которое заранее по детски обдумала: "сорвем, говорю, у мачехи на терновом цветке острых колючек и положим вечером в стакан гувернантки, она, по обыкновению, как выпьет залпом холодную воду впотьмах, так подавится и капут".

Сказано, одобрено и сделано, но чуть наступили потемки, жалость взяла свое и стакан был поспешно вылит, оставив в детской душе только угрызение совести за вынужденное покушение к развязке. Но нужно сказать и о другой стороне нашей наставницы. Отучив от невинных сплетен, она осталась нашей ненавистною грозой только в классе, вне его это была лучшая подруга наша. Куда девалась вся ее вспыльчивость, быстро переходившая в добродушие и желание потешить детей то прогулкой, то танцами, то игрою, то рукодельем для кукол и т.п. Поистине, могу сказать, что вне класса я ее любила и люблю до сих пор. Горько только, что отчужденность от родных произвела постепенно ломку прежнего склада характера, и из откровенной, общительной Юли создалась замкнутая, на всем сосредоточивающая свое внимание натура, которая, казалось, навсегда умерла для откровенности.

Пытливый, незанятый ученьем ум девочки быстро развивался, он сам доходил до разгадки всего непонятого для него путем наблюдения за жизнью животных и разговорами старших. По вечерам отец имел обыкновение читать вслух романы в обществе всех домашних, свободно рассуждая о поступках того или другого героя, а иногда, даже плача в сочувствии им. И никто не подозревал, что сперва 8-летняя Юля слушала их, потом знала их чуть не на память, а научась хорошо читать, стала красть книги и перечитывать, воображая себя в мечтах по вечерам то тою, то другою героинею и, наконец, стала относиться к этому уже критически, рассуждая, как поступила бы она, быв на месте того или другого лица. Достигнув же 12-13 лет принялась делать выписки и заметки по этому поводу.

Так двигалось саморазвитие, но гораздо раньше, а именно лет 9-ти, она уже успела влюбиться в одного 16-летнего юношу, некто **Володю Юзефовича**, который, увиваясь за гувернантку, шутя называл Юлю своею невестою. Не знал он, как билось за него детское мечтательное сердечко, а только любил дразнить ее поцелуями, которых она не допускала и даже дала пощечину за оскорбление, но наткнулась на папироску, обожгла руку, и, видя свое бессилие, пожаловалась на Юзефовича строгому отцу, возбудив всеобщий смех.

Вообще, в бытность строгой гувернантки у нас в доме было весело. В Смоленске стоял Казанский полк, командиром которого был родственник наш **Виктор Степанович Цытович (1824-1882)** (бывший впоследствии генерал-губернатором Сибири). У них часто плясала наша молодежь, взаимно приглашая к себе офицеров еженедельно. Тогда Юля не уступала большим в танцах и в шальных увлечениях маленького сердечка, одна только подруга моя Сашенька являлась здесь конкуренткою. Так катились дни за днями. Когда мы жили в городе, то старичок-дедушка, помещавшийся рядом с нашей классной, несмотря на свою слепоту и глухоту, почуял нечто недоброе в соседстве и сказал отцу: "посмотри душечка, кажется Юлю бьют, как бы это не отозвалось на ее слабом организме." Было ли сделано после этого какое-нибудь неудачное наблюдение за моим воспитанием, или ограничились простым замечанием наставнице, которая конечно сумела все замаскировать, не знаю, но только положение мое в классе не улучшилось. Когда же мы переехали летом в деревню, то ученье происходило еще дальше от дедушки, но тут-то именно и явился ревностный защитник моих детских прав, не жалевавший ради этого собственного спокойствия и даже счастья, то был брат Поль.

В 1862 году родители мои получили роковое известие от дяди Модеста Алексеевича, что он не может более держать Поля, так как он бросился в их имении в Волхов, и, хотя спасен рабочими, но, видимо, хандрит. Как разыгралась эта драма, и что было поводом к ней, я не знаю, помню только что Матап поскакала немедленно в Питер вместе с братом Алешею и скоро привезла больного брата Поля. Окружающие сразу взглянули на него как на больного, и бедного сразу ограничили во всем, как в поступках, так и в занятиях, и в свободе передвижения. Боже, как ужасна такая перемена для человека, отлично сознающего все и сильно самолюбивого. Но скоро наш "больной" заметил то, чего не видели годами здоровые. Он горячо заявил отцу,

что нельзя позволять гувернантке так бить и тиранить маленькую сестру, но увы, то сочли за бред "больного" и на него не обратили внимания, несмотря на неоднократное и все более раздраженное повторение его.

Тогда Поль окончательно вышел из терпения и стал мстить учительнице чем мог: он запускал в нее через окно в класс то кувшином, то зонтиком, то камнем - и довел подобными мерами лишь до того, что из "больного" его окончательно произвели в сумасшедшие и закатали ему силою рвотное (мучительное лекарство, которым всегда лечили и дед наш и отец), а чтоб добиться покорности вязали несчастного. Против силы "больной" невольно стал употреблять силу, либо хитрость. Как теперь помню бедного Поля, растянувшегося на диване с ножом в руках, грозно кричавшего, что если кто-либо подойдет его вязать, либо станет приставать с попом (ему приводили для увещевания священника), то он зарежет. И никто не смел подойти к мученику, действительно становившемуся больным при таких мерах, однако маленькая сестренка не побоялась подкрасться к брату и спросить: "зачем ему нож и почему он такой сердитый?" На что Поль совершенно иным ласковым тоном ответил: "Пойми, крошечка, мне нужен ножик для защиты, чтоб меня не мучили и не вязали, тебе нечего бояться меня, я ничего дурного не сделаю тебе, потому что ты меня жалеешь и даешь все, даже ножницы, а другие не дают.

В другой раз, когда Полю дали-таки насильно рвотного и успокоились, оставив одного в задней комнате, он дождался вечера и, сняв с петель запертую выходную дверь, ушел по направлению к городу, вооруженный дубиной и в венке на голове. Этот костюм уже доказывал усиливавшееся болезненное настроение, хотя и был сделан отчасти для того, чтобы пугать догонявших его, отчасти ради идеи символа мученика. Наконец мы перебрались в город, наш Поль разжился на 2 копейки и удрал-таки от крова родительского. Курьезен собственный рассказ его об этом путешествии: вышел я, говорит, поздно вечером и сел на первого извозчика, умоляя его в пути пожалеть несчастного, которому нечем заплатить, тот смилостивился и довез его до театра. Поль попал туда к концу спектакля, благодаря множеству пустых мест, развлекся, вышел в глухую темную ночь и побрел, куда глаза глядят. Очутился он так на шоссе, идет все вперед да вперед. Ехал тут мужичок, он и его разжалобил, тот подвез его несколько верст до поворота на проселок, тогда Поль побрел опять и так дошел до станции, где улегся как собака между входными двойными дверями, из которых первые оказались отпертыми.

Проспав до утра, он добыл на никем не взятые у него две копейки хлеба и снова пошел по шоссе. Глядит, - едет тарантас, сидящие узнали его и оказались лешнянскими жителями, некто **Савицкими**, родственниками жены дяди Александра Алексеевича. Они любезно пригласили Поля и спокойно довели его до Лешна, откуда известили Папу о радушном приеме своем, и о том, что Поль, отдыхая в деревне, чувствует себя хорошо и даже развлекает общество всех соседей. Среди этих соседей был товарищ нашего отца, однополчанин генерал **Велямович**.

В его дочку Сонечку Поль, как говорят, серьезно влюбился, сделал предложение и конечно получил нос. Возвратясь в Смоленск, Поль не приуныл, а наоборот прибодрился, и по желанию отца даже поступил в чертежную на службу, через что настолько вырос во мнении окружающих, что, наконец, отец поверил его увещеваниям и согласился подслушивать у дверей классной комнаты. Однако, по его горячему характеру ему не пришлось даже дожидаться обычных побоев, одного грубого обращения было достаточно для того, чтобы распахнуть дверь и грозно прогреметь: "Вон из моего дома!" Через несколько дней мы проводили нашу свирепую наставницу, с восторгом закидали всевозможные дурацкие колпаки и языки, служившие наказанием, однако в минуту рекреации жалели о ней, и до сих пор ведем с нею переписку, а я все-таки верю, что она хоть и была в силу своего страшного характера и неумения взяться за дело, а все-таки от души любила всех нас.

Так кончился период физических мучений наших. Вскоре после этого на мою долю выпала великая радость: кузина **Оленька**, первая воспитательница моя, переехала в Смоленск, куда муж ее был назначен начальником военной гимназии. Вслед за нею приехала и несравненная Тетя-Мама моя **Екатерина Алексеевна**. Так пролетел годик, другой. У Оленьки родился первый сын **Коля Цытович** (фото Цытовича *Николая Платоновича - 1865-1928*), но недолго длились все эти радости, дорогой дедушка мой безнадежно захворал и умер. Велико было горе Тети-Мамы, которая очень любила его, но скоро Цытовичей перевели во Псков, потом в Петербург, а оттуда в Омск (в Сибирь), и Тетя-Мама переселилась снова в столицу, где, похоронив брата **Модеста Алексеевича**, пожила некоторое время у другого своего брата **Платона Алексеевича** и перебралась во вдовый дом.



Небезынтересно упомянуть о неожиданном крушении блестящей обстановки после внезапной смерти дяди **Модеста Алексеевича**. Оказалось, что все его большое состояние лопнуло, а семья после такой роскоши осталась нищею. Старшие сыновья продолжали курс наук в казенных заведениях, а несчастная больная жена уехала к сестре в деревню с меньшим сыном (*Анатолий Модестович Вакар - 1856-1911 - фото*) и крошечною дочерью (*Мария Модестовна Вакар, в замужестве Беклемишева, - 1855-1904 - фото рядом*). Там малютке пришлось приглядеться к сельскому простому быту, полюбить его и стать, благодаря этому, может быть, несравненно лучшим человеком, чем наши великосветские барышни. Мать занималась с детьми дома и приготовила сына в гимназию, а дочь к выпускному экзамену С-Петербургского пансиона, где я и встретила с этой 17-летней красавицей в 1873 году.



Старшие сыновья (*Вакар Виктор Модестович - 1849-1930, фото, Вакар Платон Модестович - 1852-1928, фото рядом, Вакар Василий Модестович - 1853-1914, 3-е фото*) мало-помалу окончили курс высших наук и, отличаясь по службе, помогают матери, которая выдала дочь за помещика

Беклемишева (*фото Беклемишева Петра Александровича - 1851-1896*) и живет в Москве с меньшим сыном своим, еще студентом.



Между тем, брат **Поль**, остепенясь в роли чиновника, скопил кое-какие гроши и вдруг удрал в Москву, а потом в Питер, где снова поступил в университет. Он перешел на второй курс юридического факультета, но климат северной столицы стал вредить ему. Болезнь груди вызвала какую-то отдышку с вечным ощущением недостатка воздуха. Постоянное фиаско в любви и нравственное воздержание от грязной жизни породило онанизм. Доктора развили в нем три идеи: "нужно жениться, нужно поселиться на юге и нужно постоянно быть на чистом воздухе, либо в хорошо вентилированной комнате".

И вот Поль решает для здоровья жениться на ком бы то ни было и начинает делать предложения всем барышням по очереди, постоянно увлекается страстно, но получает отказы; ежеминутно открывает форточки и стремится на юг, что всем



кажется странным, и потому родные снова препровождают его с доктором домой к отцу т.е. в самую неподходящую сферу. Тут всех смоленских родных приводят в недоумение его странности, однако он снова собирается с силами и экспромтом улетает в Киев, где от имени отца и дяди П.А. ловко выпрашивает место у генерала **Дондукова-Корсакова** (фото Дондукова-Корсакова Александра Михайловича - 1820-1893) (бывшего студента моего отца) и отправляется членом опеки в Липовецкий уезд, получая, наконец, самостоятельность при 300 р. жалованья.



Так протекает около двух счастливых лет. Поль встречается в Липовецком уезде с богачом-помещиком некто графом **Тышкевичем** (фото справа Тышкевича Станислава Генриховича - 1829-1872, владевшего селом Андрушевка Липовецкого уезда Киевской губернии) и пишет восторженные письма, что нашел в этой семье истинно родных и вполне отдыхает душой. К этому-то блаженному времени относится и снимок огромного портрета Поля, хранящегося у меня. Но не вытерпел против своих вечных порывов к ученью наш едва окрепший птенчик. Неожиданно мы получили письмо, что Поль, оставив у сослуживцев прошение об отставке, переселился в Киев и поступил в тамошний университет. Как не журил его отец, но ничего не действовало. Дотянув до весны, он не вынес усиленных занятий во время южных жаров и очутился в больнице, откуда на мое имя пришло письмо какой-то барыни, посещавшей больных с благотворительною целью. Она сообщала, что была удивлена, встретив в отделении душевнобольных столь милого и умного молодого человека как Поль и умоляла поскорее принять меры к освобождению его (не могу себе простить что не умела тогда хранить такие письма).

Мы поспешили исполнить это, но в Липовецком уезде последовали реформы, и Поль был уволен, подгадив своим прошением об отставке, так как иначе мог бы остаться за штатом с годичным жалованьем. С этих пор начинается его кружение по белу свету. Во время этих странствий он просил меня иногда перебрать его вещи, оставшиеся в Смоленске, дабы предохранить их от моли. И вот, однажды, исполняя это поручение, я нашла у него книгу доктора Боткина, которая уяснила мне физиологию и оградила здоровье от вредного влияния. К осени он очутился в Харьковском университете, но там его обокрали ночью до ниточки, и он уехал к отцу в Смоленск.

Между тем, у меня сменились 3 гувернантки. Все они были благодушными, но образование мое шло черепашьям шагом, так как только одна из наставниц была окончившая курс в институте и несколько сведущая, но зато очень юная и ветреная. В **1868** году отец продал, в силу причиняемых ему убытков, наше прелестное именьеце **Горбуново** и приобрел взамен дачу в 3 верстах от Смоленска, завещав ее старшему брату Алеше, а мне прекрасный городской дом на Козловской горе. Но увы, осенью когда мы были еще на даче, начались поджоги, и дом этот сгорел, не быв застрахованным. К счастью, добрые люди вынесли решительно всю мебель.

В отсутствии нашем у нас квартировал капитан **Ник. Ст. Воронеж** (?-?), брат того, который сопровождал Поля в Москву. Пользуясь признательностью отца после пожара, он переехал с нами на одну квартиру, и мы познакомились с его сестрами и матерью, -Рославльскими помещиками. Однако, лишившись дома, Папа объявил, что не имеет средств нанять больше учительницу, и мое образование в 14 лет кончилось. Я настолько индифферентно относилась к ученью, в котором видела мало пользы, что была рада освободиться от него, а так как романы уже приелись мне, то и чтение

осталось в стороне. Принялась я горячо за одно рукоделье. Сижу, бывало, с утра до вечера с Сашенькою под окошечком, шью, да поглядываю на улицу. Тут мы вздумали влюбляться в ежедневно проходивших, и доходило даже до писем со стороны наших таинственных поклонников.

Так протекали дни за днями. Матан моя была весьма искусная рукодельница, и потому я научилась хорошо работать. Одно только грустно, что чем старше становились мы, тем скромнее становилась жизнь в нашем доме, тем более ощущалось стеснение нашей юной свободы. Родители старели, их утомляла рассеянная жизнь, старший брат, покорно тянувший свою служебную лямку, с каждым годом все меньше и меньше увлекался балами, которые прежде очень любил, все чаще и чаще начинал ходить в церковь и отдаваться разным благотворительностям. Склад его внутренней жизни был для меня всегда потемками. Полагаю, что он не удовлетворял его, если выработал в нем до крайности покорную, безответную, совсем не самостоятельную натуру. Отец выбрал ему невесту между сестрами **Г. Воронца**, и он женился на ней.



Старшая из девиц **Воронец Надежда Степановна (?-?)** была редкая, очень симпатичная девушка, но она потом умерла. **Меньшая** (фото *Пелагеи Степановны Воронца - 1846-1894*), - хорошенькая, простенькая, слыла за энергичную хозяйку, но вступив в нашу семью, она не внесла жизни, не оживила мужа, который и семьянином продолжал жить под крылышком заботливого отца вместе с нами. Одних нас отец никуда не пускал, сам по слабости здоровья никуда не ходил, и если Матан уставала после ежедневного посещения церкви, а *belle soeur* (жена брата) занята была семьей, либо находилась у своей матери в постоянном отсутствии мужа по делам службы, то мы являлись невольными затворницами от света, жизни и даже необходимых прогулок.

Среди такого однообразного образа жизни я стала задумываться над участью отсутствовавшего, или же появлявшегося иногда, но всеми третируемого меньшого брата. Мне хотелось постигнуть причину его несчастья и устранить ее. Еженедельно, по субботам и воскресеньям нас водили в церковь. Сперва меня тяготили эти стояния и хождения поневоле, потом мы с Сашею стали влюбляться в лиц, посещавших тот же храм. Наконец, привыкнув к храму, я начала отдыхать в нем от семейных дрязг, споров, шума, возникавших, в особенности, во время пребывания Поля, и, хотя еще не понимала значения молитвы, но научилась сосредоточиваться среди церковной тишины, думать, давать себе отчет во многом. Плоды старого воспитания крестною, значит, начали сказываться.

К Матан летом приезжала иногда ее кузина со взрослым сыном, некто **М. Черняева**. Эти личности сочувственно относились к брату Полю и первые заговорили со мною о нем и о том, как бы улучшить его положение. Черняевы были люди очень религиозные и обратились ко мне со следующим советом: "Вы - человек верующий, Юлия Павловна, чтобы Вам дать Господу обещание поновить в церкви образ, самый старый, какой подадут по Вашей просьбе, а потом ежегодно служите молебен об исцелении Павла Павловича. Такого рода обещание при истинной вере, говорят, помогает". Подумала я, подумала над этими словами, да помолясь втихомолочку и дала обещание. С этого времени вера, и осмысленная вера начала расти во мне, и стала я все лучше и лучше понимать могучую силу вдохновения, получаемую от молитвы.

Проводя дни в рукоделии, голову свою я посвящала мыслям о брате, разжевывая все воспоминания детства и определяя все источники и причины каждой из его идей fixe. Дав обещание Богу, я могу теперь по опыту объяснить значение его, как верующая, но не фанатичка. Я не ожидала чуда, но чувство веры как-то сосредоточилось в Боге, усилив молитву. Я верила, что Господь слышит меня, что

теперь мне только нужно быть настороже и не пренебрегать ни малейшим средством к облегчению положения Поля, считая, что сам Господь укажет мне как надо поступить, а я должна только помнить, что на Бога нужно надеяться и самой не плошать. Бог может указывать нам путь, которым следует идти, постигать это указание должен же сам верующий, вглядываясь в жизнь, ее случайности и давая отчет каждому дню. Достижение наших целей часто зависит от этой пронизательности и исполнительности указания свыше.

1873

Так проходила зима **1873** года. Поль был в Москве, вдруг мы получаем письмо, что он очень счастлив и наконец решает свою участь, соединяясь браком с некто **Ламыкиной**. Свадьба назначена в 20-х числах мая, невеста - единая дочь у родителей со средствами. Оказалось, что эта мечта не миф, так как мой отец возбудил переписку с отцом невесты, и старик отвечал утвердительно, не лентясь трактовать о будущем нареченных. Я была в восторге, только считала необходимым долгом чести предупредить невесту о прошлом ее жениха и радоваться счастью последнего, лишь убедясь в редкой самоотверженности девушки, но Папа не позволил поступить так.

Однако, наступил май, и все надежды рухнули. Отец невесты, должно быть, навел справки о Поле и очень деликатно предложил отсрочить свадьбу до августа. Поль был в отчаянии. Папа, боясь чтоб он не захандрил на глазах у невесты, советовал ему уехать в Смоленск до августа. Он послушался, но скоро очень захандрил, живя у нас, и вдруг пишет своей невесте **Сонечке** странное письмо, полное галиматъи. Как ни умоляла я его бросить и не писать, он все-таки отправил его, уверяя, что она поймет все и немедля ответит. Я не придавала значения этим словам, и какого же было мое удивление, когда дня через два-три, Поль сияющий влетел в мою комнату с письмом, говоря: "Что, видишь, моя Сонечка - Ангел, не чета другим, ответила, да еще как ответила!"

Я стала читать письмо на 2-х листах и действительно не верила глазам, проникаясь с каждой строкою глубоким уважением к этой редкой девушке, в которой слышался истинный голос человека с сердцем и душою (ужасно досадно будет, если не найду у брата этого чудного письма для приложения сюда как отрадного факта), доказавшей тогда, что в мире - не одни кокетки-куклы, а есть и люди. Бедняга выражала участие, постигнув болезненное положение Поля, она писала очень душевно и дельно, умоляя успокоить ее другим письмом, в противном случае выражала готовность бежать к нему для утешения и успокоения. Я плакала над этими строками и чувствовала себя счастливою от одного сознания, что свет еще не клином сошелся, и есть еще настоящие люди. Карточка **Ламакиной** (*ранее - Ламыкина*) до сих пор хранится у меня, но ее саму не удалось мне видеть. Осенью отец ее окончательно отказал Полю, а дочь, говорят, силою выдал за богатого купца.

Когда Поль жил у нас, я проводила с ним целые часы, то вызывая его на последовательные беседы о прошлом (что очень трудно), то читая с ним "книги о Фридрихе Великом", с которыми он несколько лет все носился с благоговением (вот мне и хотелось постигнуть, что его привлекает к ним), то терпеливо выслушивая его галиматъю, когда он начинал хандрить, то помогая ему разбирать разный его хлам и исписанные бумаги, даже ходила с ним к совершенно незнакомым мне лицам по его просьбе (например, **Карташевым**, которые с участием относились к нему), - одним словом, старалась, не раздражая, исполнять все ему приятное и ограждать его от нападков домашних за частую вентиляцию и беспорядок, им производимый. Увлекаясь, таким образом, я и не замечала, что надо мной самой нависала грозная темная туча, рассеивать которую пришлось потом годами страшной борьбы, унесшей лучшие силы...

Началось дело с того, что до моего слуха стали долетать замечания Матап вроде следующего: "Ну вот, возится с братцем своим и сама такую же станет". Наконец, однажды вечером подали ужинать, я увлеклась чтением книги Фридриха Великого вместе с Полем, и невольно мы явились позднее, забыв насколько аккуратна Матап во всех своих домашних, раз и навсегда заведенных обиходах. Столовая наша помещалась у нас в моей комнате, отделяясь легкой перегородкою от моей спальни, а с другой стороны прилежала к комнате Папы, который никогда не ужинал. Жили тогда мы уже в нашем новом доме, приобретенном отцом в Офицерской Слободе после продажи старого пожарного места. У старшего брата было уже двое маленьких сыновей, и все они помещались у нас же в мезонине. Они также запаздывали к ужину, хотя вызывали этим неудовольствие Матап, но всегда более снисходительное, во-первых, потому, что их признавали занятыми службою и детьми, во-вторых, сами они всегда были безответны.

Когда же Матап налетела на меня за опоздание к ужину, то Поль вдруг вздумал вступиться. Пошли слово за слово, Поль неосторожно заметил разницу между матерью и мачехой, Матап это взорвало еще больше, она стала говорить про нашу покойную маму, говоря, что она была слабая, больная, что ей грешно было выходить замуж и т.п. Тут и я не вытерпела, защищая память матери и вторя брату, говорившему в ту минуту дельно, хотя резко. Я не заметила, что впервые сильно возвысила голос в доме, как бы заявляя смелый протест тому, против чего давно возмущалась молча. Трудно было Матап говорить против двух, да еще с непривычки, она дошла до слез и только сказала: "Ну где уж мне дура спорить с Вами умниками". Конечно, этого было уже слишком достаточно, чтобы заставить меня опомниться и смириться, иногда даже перед несправедливостью человека старого. Но на этот раз не суждено было ограничиться легкою перепалкою, а, напротив, дело обратилось в семейную драму, старший брат с женою пришли в это время сверху, а грозный отец, слышавший все, был тут еще раньше их...

Никогда не забуду я тогдашнего его вида.., то была воплощенная гроза в полном смысле этого слова. Он точно вырос в своем строгом величии, глаза его так и метали молнии, руки невольно сжимались в кулаки, а из уст прогремело только одно слово "мерзавец", когда он подошел к Полю, а потом, уже задыхаясь от гнева, отец пояснил: "ты погубил себя, позоришь нашу фамилию, а теперь еще сбиваешь с толку единую сестру!"... Но я была уже подле брата, и, прошептав "неправда", с рыданием увлекла его в свою комнату, чтоб не дать разгореться ссоре. Там я упала на колени, хотела молиться, увы, лишь слова "Боже мой!", "Боже мой!" с рыданиями вырвались из наболевшей души.

Скоро брат **Алеша**, всегдашний миротворец, увлек нас с Полем обратно, и я уже не помню каким образом мы все четверо стояли перед отцом на коленях, в ту минуту, когда он, успокаивая и уводя жену, говорил ей, что уничтожит завещание и, бросив всех, завтра же сделает распоряжения о выезде с нею в Петербург навсегда. Прощения, стоя на коленях, мы не вымолили, и я помню только, что вырвалась от Алеши и, не зная куда от него деваться, бросилась в сени, чтобы освежиться, но очутилась в кухне, и тут только, увидя пять-шесть разинутых любопытных ртов с мнимым льстивым участием, постигла, какая орава дураков была за дверями свидетелями всей нашей драмы, которая, конечно, завтра же на зоричке не замедлит сообщить ее всем знакомым кумушкам с тысячею прикрас...

Сердитое бессилье еще более охватило меня, я не знала, что сказать им, чем сгладить происшедшее и, пробормотав что-то совсем непонятное для них в свое оправдание, очутилась снова во власти Алеши, который увлек нас вместе с Полем наверх читать акафисты.... Едва к 2-3-м часам ночи я перевела несколько свободнее дух в своей комнате, когда все, наконец, оставили меня в покое. Утром, проснувшись после тревожного сна, я была окончательно раздавлена следующими мерами: мимо моей перегородки ходили все на цыпочках, Поль был куда-то удален, шепотом

раздавали приказания, чтоб не раздражали меня, выражали самые ужасные опасения, и всю надежду возлагали на рвотное, которое готовились закатить мне. Сашенька, моя подруга, выражала громко свой страх оставить ее со мной в одной комнате.

Вспоминать это теперь тяжело, прочитав сочувствующим мне лицам может быть будет грустно, но пережить впечатление от этих слов среди полного одиночества, полной беспомощности и той нежности и чуткости сердца, которые были мне присущи, более чем ужасно. (Пересказать то, что чувствует здоровый человек, когда его считают больным и умственно расстроенным, - невыносимо). Это такой ад, хуже которого быть не может, отделаться от него единичными силами, если это будет продолжаться долго, невозможно, и существует лишь один исход - либо человек под этим гнетом действительно сойдет с ума, подобно Мазуриной, дело которой описывается теперь в газетах, либо этот человек лишит себя жизни. И я решилась тогда, что, как ни грустно, как ни слабохарактерно в моих глазах самоубийство, но я прибегну к нему как к законной развязке после самой усиленной борьбы, лишь бы только не стать в положение меньшего брата, и не дойти до слабохарактерного фанатизма старшего.

Сказано - сделано. Я встала и вышла на борьбу..., но кто, не испытав, в состоянии себе представить, что чувствует человек, у которого все мысли сузились до одной: "Меня считают сумасшедшей". Каждое слово, произносимое тихо, возбуждает любопытство, каждое слово, обращенное ко мне, вызывает подозрение, что оно сказано либо для испытания смысла моего ответа, либо из снисходительности. Даже угодливость окружающих раздражает, и чувствуешь себя совсем раздавленным, невольно боишься всех, потупляешься, но моментально сознав, что и это не годится, как-то естественно напускаешь на себя бодрость и бойкость, подавленный всеми этими обстоятельствами, подавленный этими мрачными мыслями и наблюдениями. Даже ответишь иногда действительно невпопад, просто обмолвишься, как и все грешные, и, Боже, сколько мук приносит тогда эта обмолвка, ведь знаешь какое значение придали ей и бежишь от человека слышавшего ее, а потом и от всех, подозревая, что уж все знают эту обмолвку, всем передан этот казус. Боже, что это за ад! Минуты одиночества, либо ночной тишины сперва немного приносят облегчения, но нет исхода, и потому они не могут быть продолжительны. Сон бежит от глаз, молится нет сил, мыслям даешь простор, ищешь соломинку, за которую бы ухватится, но не находя ее, начинаешь рыдать напролет всю ночь и под утро бьешь бедной головушкой об стену среди безысходного отчаяния.

Так тянулась неделя, другая. Я совсем истощилась, говорила даже с Сашенькой, выражая ей ту мысль, что живя со мной в одной среде, она должна понимать, как тяжело здесь жить. "Нет у меня мамы", - пояснила я свое горе, и первый раз чуть не заплакала при других. Но увы, Сашенька, по своему характеру не могла меня ободрить. Напротив, мне показалось, что она передала мой разговор нашей экономке Агаше, крутившей всем домом, и я еще глубже старалась уйти от их ненавистных наблюдений в свою раковинку. Но там было уже слишком тесно, исхода не предвиделось, душа разрывалась на части, и от первой преследовавшей мысли я перешла к другой, не менее мучительной: "Нет сил побороть, надо кончить". Но, как?

И вот с утра и до вечера, а в особенности ночью, я вся отдалась придумыванию средства лишить себя жизни. Остановишься, бывало, на каком-либо способе, и начинаешь представлять себе весь процесс насильственной смерти, впечатления, которое она произведет в окружающих. Станет, мало помалу, жалко Папу и досадно на то, что для всех остальных этот финал безысходных мучений пройдет бесследно, скажут ведь только одно: "Ну что ж, она не в своем уме это сделала" и успокоятся. Пока такие мысли преобладали над страданиями, я оттягивала свою решимость покончить, но, наконец, наступил такой невыносимо тяжелый день после столь продолжительного истощения нравственных и физических сил, что я не вытерпела и, выждав минутку,

когда никого не было дома кроме Папы, распустила спички и, вся в слезах, поднесла рюмку к губам, проговорив с отчаяньем: "Господи, Господи прости...."

Вдруг совершенно неожиданно я увидела на пороге своей комнаты некто **Елену Людвиговну Матон**, которая, войдя без звонка, спрашивала дома ли моя... (*неразборчиво*), это была одна из ее знакомых. Моментально спрятала я рюмку под платок и, стараясь скрыть заплаканное лицо, прошла в темные сени, ведущие наверх к брату, чтобы проводить гостью, оставив ее там, я возвратилась в свою комнату и принялась плакать уже иными слезами, облегчающими страдание. Мне казалось, что Господь послал М. Матон, она была личность очень религиозная, я мало ее знала, но привыкла видеть ее всегда усердно молящуюся в церкви. Поэтому-то появление такого человека и стало для меня знаменательным, оно вернуло надежду на Бога, который не допустил совершения отчаянного поступка. (Вот как важна привычка посещать церковь, ее прививайте детям!)

Тут блеснула благая мысль: "Я ведь дала обещание за Поля, а разве я могла бы помочь ему, не поняв его вполне. Так верно же Господь посылает мне это испытание, чтоб я хорошо могла постигнуть весь ужас его положения, да, кроме того, и положения всех подобных несчастных, а ведь это счастье постигать душевнобольных не могут даже знаменитые психиатры. Да будет же воля Господня!" И вот явилась сперва возможность молиться, а потом не протестовать против рвотного. Что ж, думаю, не умру я от него, а, по крайней мере, после приема окружающие, поверя в силу лекарства, будут считать меня выздоровевшей, и то хорошо.

Между тем 4-х летний племянник мой **Володя** (*старший сын Алексея Павловича Вакара Владимир Алексеевич - 1871-1912*) выпросил прощение у строгого дедушки для тети Юли, а мне уж только оставалось попросить его к себе в комнату и утешить согласием принять рвотное. Причем, я еще выговорила себе в награду лошадок, чтоб покатали, намекнув, кстати, что месяцами никто не заботится, гуляли ли барышни хоть раз... Кроме того, я позвала к себе Алешу, рассказала ему о данном обещании, надеясь, что он более других поймет после этого мои ретивые отношения к Полю, и попросила Алешу пойти в церковь и спросить от моего имени самый старый образ для поновления. Алеша отнесся тут действительно хорошо, но каков был мой восторг, когда через час он принес мне большой образ "Покрова Божьей Матери". С этой минуты мне стало еще легче, я верила что Царица небесная покроет меня своим покровом и подкрепит во всяком горе. Чтоб иметь средства поновить образ я усердно принялась переписывать бумаги для Алеши вместо писаря, и он платил мне за копии вводных листов по 20 копеек.

Рвотное было принято, все успокоилось, и все вошло в прежнюю колею, но подвергалась я душевным пыткам при встрече со всеми знакомыми и должна была соглашаться будто была нездорова. Лишь к Пасхе успокоилась я, удостоверив всех в своих умственных способностях, то интересной беседою в обществе, то неожиданной остротой, по крайней мере, свою-то подозрительность к неискренности отношений других я уgomонила таким путем. Наступила весна, и вдруг Матап вздумала прокатиться в Питер посмотреть на свой домик и полюбоваться родиною. Родные мои, т.е. Тетя-Мама и Дядя Платон Алексеевич стали просить, чтоб она привезла к ним уже большую племянницу. Какого же было мое удивление, когда Папа согласился отпустить меня!

Каждый знавший мою затворническую жизнь радовался за меня и воображал, что я на седьмом небе от предстоящего путешествия в столицу. В иное время оно и было бы так, но после всех предыдущих событий я вспомнила, что и петербургские родные не остались в неведении о моей мнимой болезни, а следовательно, прибыв туда, я снова подвергнусь пытке наблюдений, и собственная подозрительность к общественному мнению замучает меня. Естественно, что я с радостью предпочла бы остаться дома, но отказ от поездки в столицу был бы дик в глазах других, кроме того, мне хотелось видеть мою несравненную Тетю-Маму, да и дорожку в Питер узнать было

не лишнее, хотя люди столицы вообще пугали меня, потому что я воображала себя перед ними ничтожной провинциальной недоучкою.

В чудную весеннюю погоду среди цветущей природы мы выехали 1-го мая из Смоленска, но чем дальше увлекала нас чугунка, которая тоже была для меня новость, тем скуднее становилась зелень, а Питер встретил нас туманом, мелким пронизывающим дождем и ледяной дорожкой через всю Неву. Карета домчала нас до дома Матап против Летнего сада и Фонтанки. Хозяйке все были рады, но меня смущал неперестававший дождь и холод, требовавший теплой одежды, которой у меня с собой не было. Так просидела я у окошечка чуть не в продолжении недели, не видя ни родных, ни Питера. Наконец, уже Дядя Пл. Ал., узнав через правоведского швейцара (училище Правоведения, где воспитывался сын дяди, было возле дома) о приезде А.В., сам приехал к ней и сюрприз при встрече со мною был вполне эффектен, так как не сообщали об отпуске меня Папою. На другой день Дядя взял слово, что мы обедаем у них и вечером едем в театр. После его посещения погода разгулялась, и мы наконец отправились в Смольный к Тете- Маме. Матап вошла первая, а я спряталась за дверь, и когда дорогая старушка моя поплелась притворить ее, я выскочила и бросилась обнимать тетю. Надо было видеть, до чего растерялась родная от радости. Она и плакала и смеялась, даже не знала, что ей делать и чем угостить прежнюю любимую крошку свою.

На другой день мы расфрантились и отправились с Матап на трясухой эгоистке в Коломну. Какого же было мое неудовольствие, когда, почти добравшись до квартиры Дяди, извозчик вывернул нас в грязь. Отделавшись благополучно от падения, Матап все-таки не позволила отправиться в таком виде к Дяде, а когда вернулись мы домой для переодевания, то она разохалась и совсем отказалась ехать.

Сию я опять у окошечка, пригорюнясь. Вдруг является брат Поль, он был в это время в Питере, и явился с письмом Дяди, чтоб непременно привезти меня. Долго не пускала меня Матап, наконец, окружающие уговорили ее, и скоро прекрасный извозчик домчал нас по Морской в Торговую, где меня встретили все родные с восторгом и повезли сейчас же в театр. Вернувшись, я очутилась среди компании кузин (у Дяди было две взрослых дочери и две подраставших, да дочь дяди Модеста Алексеевича неожиданно приехала тогда же в Питер из Рязани) и правоведов, товарищей кузена.



Старшая кузина **Люба** (фото Любови Платоновны Вакар - 1850-1906), хорошо образованная, спорила с последними о вопросах веры, и у меня просто уши вянули при резких отрицаниях религиозных воззрений и даже Бога, которые сыпались из юных уст правоведа **Каморского** (в списках выпускников Училища правоведения не значится). Он несколько раз даже обращался ко мне с вопросами, поясняя, что слышал о моей религиозности, и, следовательно, я должна уметь объяснить все во что верю. Пришлось отнекиваться и потом бежать, потому что спорить тогда я еще не умела, а за трусость и странные недомолвки заслужила сравнение с братцем Полем. Этого было довольно, чтобы еще больше стусевать меня и прилепить язык к гортани.

Так протянулась неделя, посетила я не без удовольствия Цытовичей (Оленька жила тогда с семьею в Питере) и познакомилась еще с двумя кузенами - сыновьями самого беднейшего дяди **Михаила Алексеевича**. Старший - **Антон** (? - после 1884), который в детстве был отдан родителями на воспитание моему отцу, служил в Питере и чуждался всех, озлобясь на холодный поступок с ним родителями в детстве. Младший - **Феликс** (?- 1881), всеобщий любимец, серьезный и отлично учившийся юноша в военной курточке предстал впервые передо мною и понравился мне больше всех.

Через 2 недели отсутствия я снова очутилась в Смоленске. Отрадно было после первой разлуки обнять моего дорогого Папу и рассказывать ему целыми днями последовательно обо всем виденном. Никто никогда не слушал меня так, как, бывало, он! Но, наступало лето. Уже несколько таких сезонов мы прожили в городе по нежеланию Матап оставлять Смоленск с его церквями. Теперь Папа обещал, по обыкновению, ехать на дачу с нами, но я, уже плохо веря в это, взяла с него слово, что если он не поедет на дачу, то отпустит меня с Алёшею в имение его жены в Рославльском уезде, где летом всегда находилась его семья. Папа обещал, и как не стремился на дачу, но не в силах был расстаться с женою и поневоле отпустил меня за 70 верст.

То-то нагулялась я там впервые на полной свободе, и гуляла, и каталась верхом одна, и делала все, что мне вздумается без контроля, но зато в десять раз тяжелее стало дома по возвращении через 2 недели. Однако, мало помалу, я вошла в старую колею. Впрочем, по праздничным дням наступавшей зимы у нас становилось несколько веселее. Папа, видимо, старался найти для меня подходящий круг знакомства. Прежде всего, столкнулась я с веселенькою барышнею **Варею Путято**, потом с **М. Федорович**, **М. Потемкиной** и другими. Приехали также из Витебска три мои **кузины Каховские**, но все они вертелись вокруг меня от времени до времени, появляясь и исчезая как метеоры, оставляя мало впечатления и не возбуждая никаких прочных дружеских отношений.

Только, глядя на Потемкину и Федорович, кончивших отлично курс (одна - с шифром, другая - с медалью), я впервые невольно подумала: "А я-то, что же?", и как-то начально стала иногда почитать иностранные книжечки, даже переводить кое-что, вспоминая языки, но дело шло вяло, неумело, бесцельно... Была среди этих барышень еще одна личность, это некто **М. Матон**, о которой я упоминала. Эта солидная девушка, живущая с 15-летнего возраста своим трудом, уроками, очень нравилась отцу, но посещала скорее мою... (*неразборчиво*), чем нас, так как ее раньше знала, а меня считала, вероятно, еще слишком юною и не воображала, что значили иногда ее посещения для меня.



Прошла зима. В июне приехал к нам Дядя Платон Алексеевич со второю дочерью своею **Надею** (*фото Надежды Платоновны Вакар, 1856-1926*), и мы недельки 3 провели очень весело. Тут жизнь шла как-то вольнее, я - то гуляла, то каталась на дачу, либо по Днепру с родною гостью и целой компанией знакомых из молодежи. Тогда у нас чаще всех вертелся **А.Н. Колачевский** (*Колачевский Андрей Николаевич - 1848-1888 - смоленский дворянин, трижды арестованный за связь с революционерами-террористами Каракозовым Д.В., Нечаевым С.Г.*), приударявшей за Надею, но поглядывавший на Потемкину, которая становилась царицею Смоленского бального общества. Замечу, кстати, что меня на балы никто не мог соблазнить, несмотря на то, что впоследствии даже

Папа желал этого. Возникла эта антипатия "к свету" вследствие того, что, будучи лет 13-ти, я раз как-то попала с Папой и Матап на детский костюмированный бал в дворянское собрание, где были и взрослые, ожидая своей очереди веселья с часу ночи.

Я плохо танцевала, хуже других была одета и услышала резкие насмешки, как над своей застенчивой неловкостью, так и над нарядом. Потом, и среди взрослых, стоявших вокруг танцующих, слышала постоянные насмешки, то над тем, то над другим. Этого было достаточно, чтобы возбудить во мне положительную ненависть к этим светским удовольствиям, тем более, что я считала себя дурнушкою и, как ни приглядывалась в зеркало, удивлялась, почему другие находили меня хорошенькою, тогда как я была такая худенькая, маленькая, совсем незаметная среди других

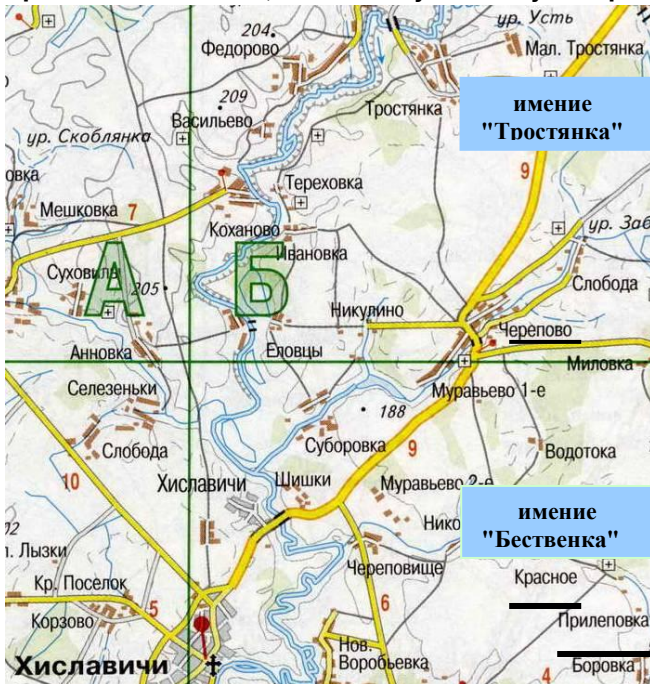
сверстниц... Однако, я понравилась себе, когда надела очень ловко сшитое портнихой (прежде у нас ничего не отдавали шить) прелестное розовое платье. Подарила мне его Матап на именины, и я очень полюбила этот летний наряд.

Когда Дядя уехал я стала снова приставать к Папе, чтобы отпустил меня в деревню к брату и добилась этой радости. На этот раз я поехала туда не по железной дороге, а на лошадях вместе с сестрою моею ... *(неразборчиво)*, Надеждою Степановною Воронец и Алешею. Путешествие тройкою среди любимой сельской природы очень занимало меня. За 12 верст от Бественки (имение брата) я увидела, что навстречу к нам едет маленький шарабан, в котором сидит дама средних лет, очень симпатичная, а лошадью правит мальчик лет 9-ти. Этот ребенок показался мне, положительно, херувимом, так он был изящен и красив. Поравнявшись с нами, шарабан остановился, и незнакомая дама, равно как и Н.С. Воронец, пришли в восторг от встречи. Надин мгновенно представила меня, а М. Вороновская (*Вороновская Елена Петровна - ?- после 1881 - владелица имения "Тростянка"*), как назвала себя новая знакомая, стала убедительно просить заехать к ним, говоря, что и брат мой Поль нынче познакомился с ними и находится у них.

Действительно, скоро мы поравнялись с красивой усадьбою, и навстречу нам выбежал Поль, а на террасе я увидела высокого, очень красивого юношу лет 19-ти, который стал тоже убеждать нас остаться у них, а потом, видя отказ Алеши и мой, обратился ко мне с увещаниями. Но, когда я отказалась, то стал как-то насмешливо прохаживаться на мой счет, намекая на то, что я, мол, под опекою. Не понравился мне этот тон. Я еще резче отказалась, однако Nadine, не спросясь, обещала М. Вороновской, что привезет меня в августе, когда последняя вернется из Киева и привезет свою единственную 16-летнюю дочь из института. Таким образом, я уехала в Бественку и снова жуировала там по-своему, слушая от времени до времени уверения, то от ...*(неразборчиво)*, то от Поля, что к Вороновской необходимо поехать, и я буду в восторге от них, так как там совсем иная сфера. Но, ничто не влекло меня, и только рассказы о радушном отношении к Полю были по сердцу.

1874

Наступил август 1874 года. Поль сообщил, что юный насмешник - сын Вороновских - уехал уже в гимназию в ... *(неразборчиво)*, а барышня с матерью прибыла из Киева, и Надин удалось уговорить меня отправиться к соседям, куда мы и собрались вместе с Алешею.



Часа через полтора лошадки наши доплелись до живописной Тростянки (см. карту) (имение Вороновских). Она совсем не походила на Бественку, учиненную среди дремучих лесов. Тут, напротив, все дышало жизнью.

На карте 1871 года сельцо Бественка расположено у истока ручья Бественка (Проня), притока реки Духовой и смыкается с Прилеповкой (см. карту). В 1859 году оно включало 11 дворов и 86 жителей. На карте РККА 1924-1926 годов деревня Бедственка расположена в 2-х км. западнее, у истока речушки Красная (левый приток р. Сож).

*В справочнике Смоленской области 1983 года деревня отмечена с разными именами: в одном месте, как **Красное**, в другом - как **Бедственка**. На данной карте деревня фигурирует под названием **Красное** Хиславичского района Смоленской области (население в 2007 г. - 4 человека).*

Окрестности, луга с катившимися по ним волнами Сожа, сад с массой яблок, цветник с разнообразием флоры и самый дом, красующийся на горе над Сожем, с вековыми липами над его обрывом. А по другую сторону Сожа приветливо белелась церковь среди своеобразных домиков и гор, испещренных разноцветными полосами посевов и раскинутых изб соседнего села. Скоро я была в объятиях приветливой хозяйки дома, а из цветника навстречу мне шел почтенный длиннородый старичок (*Вороновский Михаил Иванович - ?-после 1878*) с улыбкою заявлявший, что "идет пожать очень маленькие ручки, которые уже знакомы ему по рассказам Поля". Хорошенький херувимчик **Саша** (*Вороновский Александр Михайлович - 1867 - после 1924*) тоже мелькал. Тут и я сразу почувствовала себя хорошо. Но вот нас усадили в гостиную и познакомили меня с 16-летней пампушкой - дочерью своею - **Анютою** (*Вороновская Анна Михайловна - 1857-?*).

Довольно долго мы не вступали с нею в разговор и точно дичились друг друга. Наконец, замолвив словечко, быстро познакомились. Анюта через час уже готова была перейти на "ты" и, вообще, выглядела совсем наивной, в высшей степени добродушной девочкой. Не привыкла я к такому ласковому родственному обращению и была счастлива, встречая его среди всех членов семьи. Старшие из них пошли распорядиться насчет обеда, а мы с Анютою уже принялись пересматривать журналы, чтобы выбрать что-нибудь для совместного чтения, когда послышались неторопливые шаги, и в гостиную вошел молодой человек среднего роста, бледный, с весьма правильными чертами лица и длинными черными кудрями. Он раскланялся издали и сел в дальний угол, потом начал прохаживаться взад и вперед.

Пообедав, Алеша стал собираться домой, но Анюта увлекла меня в свою комнату и, обнимая, умоляла остаться. Родители тоже упрашивали, обещая сами отвезти меня дня через два. "За чем же дело? - спросили они наконец - если за опекуном, то мы примемся упрашивать его". Но я не допустила этого, а просто объявила, что остаюсь, и у опекуна спрашиваться не стану. Посыпались одобрения, и скоро мы с Анютою остались вдвоем за чтением какого-то романа. Я читала громко и читала старательно. Любила я, когда меня слушают, да дома слушать было некому, а тут скоро прибавился и слушатель, серьезный старший братец.

Окончив одну книгу "Дела", мы стали говорить с Анютою о прочитанном. Взвешивать романы было для меня с детства не новинкою, но теперь пришлось и примолкнуть, так как в наш разговор неожиданно вмешался брат Анюты. Сказав слова два-три о романе, он предложил сам читать с нами, но что-нибудь более серьезное. И вот, после чаю, вся семья дружно разместилась у большого стола в зале, и **Владимир Михайлович** начал читать статью Шелгунова, одну из легких, под названием "Женское безделье".

***Владимир Михайлович Вороновский** (1855-1933) в 1865 году причислен к дворянскому роду. 31 декабря 1883 года получил диплом об окончании юридического факультета Санкт-Петербургского университета, в Смоленске занимал должности почетного мирового судьи, гласного городской думы, являлся одним из владельцев имения "Тростянка". С 1902 года жил в Петербурге, служил чиновником особых поручений МВД и Министерства финансов. Действительный статский советник. К 100-летию юбилею войны 1812 года издал книгу "Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской губернии". Был женат на дочери действительного статского советника Екатерине Александровне Игнатьевой 1880 г.р. Имел двоих детей: Елизавету (1895-?) - доцента кафедры математики Ленинградского физико-механического института и Арсения (1898-?). Умер в Ленинграде 12 ноября 1933 года.*

Чтение было замечательно внятное, каждое слово точно хотели запечатлеть в слушателях, слог статьи был игрив, и я действительно обратилась вся во внимание. На иностранных словах меня ловили, но я скоро привыкла, не конфузясь, не только сознаваться в непонимании их, но даже сама спрашивала значение таковых. Скоро Влад. Мих. начал, видимо, очень тонко ловить меня и в другом отношении. Притворяясь, что устал, он передавал книгу для чтения Анюте, которая начинала позевывать, и в ту же минуту, взглянув на меня, ловил морщинку недовольства на моем лице, после чего продолжал чтение сам. Наконец, статья была кончена, пошли прения всей семьи. "Боже, какая разница между отношениями в нашей семье и здесь", - невольно мысленно сравнила я.

Подали ужинать. Во время закуски Влад. Мих. стал говорить со мною, упоминая, что подметил во мне охоту к чтению, и интересовался узнать, удастся ли мне дома это разумное удовольствие. На что я откровенно ответила, что давно бросила читать, так как романы мне приелись давно, а серьезных книг нет, да и не научилась еще читать их. К тому же, дома не с кем разделить мысли о прочитанном, не у кого спросить то, что не поймешь... Влад. Мих. сидел почти против меня, свет висячей лампы падал на его чудное в эту минуту лицо, точно сиявшее от дивного блеска больших, чрезвычайно выразительных темных глаз. Я невольно почувствовала что-то небывалое, охватившее все мое существо, и глаза мои сверкнули такой молнией, что даже мне самой стало как-то больно. И когда Влад. Мих. несколько подавленным голосом сказал, что "он может предложить книги, а читать их я сама научусь", то я могла поблагодарить только взглядом, и верила, что его довольно, что взгляд этот понят.

Следующий день я провела с Анютой, читая, играя на рояле и гуляя, и помогала даже шить. Когда мы пошли в сад, то я заметила что и Влад. Мих. направился туда же. Это удивило Анюту, она показала мне на брата, как бы желая обратить внимание на то, что ее нелюдимый Володя не чуждается нашего общества. Гуляя, мы болтали с Влад. Мих. весьма обыденно. Он даже вздумал подшучивать и стал приставать ко мне, чтобы я взяла у него папироску и закурила, видно хотелось испытать степень своего влияния. Но я всегда была противницею курения, не поддавалась и теперь.

После обеда Влад. Мих. спросил, не хотим ли кататься и сами править. Мы, конечно, обрадовались и скоро помчались с Анютою в шарабане, а Влад. Мих. догнал нас на своем жеребце в другом и, поравнявшись, спросил, как бы невзначай, кто хочет пересесть и покататься на его неудержимом коне. Но мы обе отказались. На третий день я заметила что Влад. Мих. бродит такой скучный, точно недовольный или огорченный чем-нибудь. Весь обед он просидел, не притронувшись ни к одному кушанью. На дворе же стал побрякивать колокольчик, и я неожиданно узнала, что он уезжает в Вязьму, где еще кончает курс гимназии. Глядя на Влад. Мих., этого нельзя было предположить, до того он был серьезен и солиден. Вся семья вышла провожать сына на террасу и я простилась... Не забыть мне того противного, заунывного бряканья колокольчика тройки, уносившей так скоро доброго человека, озарившего каким-то хорошим чувством мой внутренний мир.

На другой день мы поехали в село **Черепово** (см. карту) к обедне, а оттуда Вороновские отвезли меня в Бественку. Но, быв у обедни, я удивилась, увидев пожилую даму, по лицу чрезвычайно знакомую мне, но не могла вспомнить кто она. С нею был еще какой-то господин и барышня, очень некрасивая и неуклюже высокая. Все они раскланялись с Вороновскими и укатили в шикарной коляске. Вороновские пояснили мне, что это их богатый сосед с дочерью, некто **Шевандин** (*капитан 1 ранга Павел Алексеевич Шевандин - ?-до 1878 - во второй половине XIX века владелец села Черепово*), а пожилая дама заменяет барышне мать и хозяйку дома, так как Шевандин вдовец. Он оказался в давнишней ссоре с Вороновскими и просто ненавидел их, так что барышни не могли и думать о знакомстве, хотя обе как единые дочери в семье, сучали, живя зимою в деревне.

Пробыв в Бественке еще неделю, я поехала с Алешей обратно в Смоленск, но на минуточку заехала в Тростянку, потому что обещала. Но каково ж было мое удивление, когда, входя в дверь, я столкнулась лицом к лицу с Влад. Мих. Приятный сюрприз, - происшедший потому, что Вяземская гимназия передельвалась, и Влад. Мих., воспользовавшись отсутствием занятий, приехал еще на несколько дней. Пробыв в Тростянке с полчаса, мы уехали, а дома Папа давно ожидал меня, и снова я угощала его рассказами о своих похождениях и новом знакомстве, хотя, конечно, некоторые впечатления передать не могла.

Осенью Анюта, быв в городе со своим почтенным отцом, сделала нам визит. Папа принял их очень любезно, благодаря за радушие ко мне и Полю, и с этих пор моя новая подруга, в расположение которой я так верила, стала посещать меня каждый раз, когда бывала в городе, и даже гостила иногда по неделе. Я начинала любить ее все больше и больше и не ленилась отвечать на ее весьма частые и длинные письма. При свиданиях же с подругой я, конечно, узнавала все их семейные новости и читала иногда вяземские письма, которые своею дельностью и своеобразностью приводили меня в восторг. Вороновские, приезжая всей семьей, останавливались в гостинице, и тогда я бывала у них и встречала второго сына их **Михаила Михайловича** (*Вороновский Михаил Михайлович - 1856-1918*), бывшего в Смоленской гимназии.

Сперва я продолжала не совсем симпатизировать ему, как насмешнику, но потом привыкла к нему, как к хорошему малому, и заставила Алешу пригласить его к нам. Скоро Михаил Михайлович стал у нас праздничным гостем и, хотя Мамап недолго любила всю эту семью, продолжал бывать, не обращая внимания на ее не совсем любезный тон. В нашей воскресной компании барышень часто завязывались споры, и мысль под влиянием М.М. несколько зашевелилась. Совершилось даже такое чудо, что Сашенька увлеклась идеями о труде, вздумала уехать в Питер, чтобы поступить в акушерки и помогать овдовевшей и хворавшей матери своей. Уехать-то Сашенька уехала, но совладать со своими нервами при акушерских операциях не могла и потому поступила было в сестры милосердия при вдовьем доме, однако, выдержала эту деятельность недолго и, кажется через два года, вернулась опять к нам.

1875

Наступил 1875 год. Вороновские купили в Смоленске дом близ Никольских ворот, но сами, оставляя для своего приезда верх, не жили в нем. После праздничного свидания в деревне с вяземским братцем Анюта доставила мне кое-какие книги и каталог с заметками, что читать. Не помню, но знаю только, что я начала почитать уже иным способом, а именно: роман, потом критику на него, Островского, а потом критику. Серьезные вещи давались моему пониманию с большим трудом. Построчно, кажется, все понимаешь, а в целом ничего не остается в голове. Но мне жилось хорошо. Что бы не огорчило, что бы не смутило, - все сносилось легче при мысли о возможности летом снова вздохнуть свободно и отрезвиться, хотя недельки на две....

Между тем, у нас явилось еще новое знакомство. Сперва к нам приехала та барыня, что я видела в селе Черепове у обедни, она недаром показалась мне знакомою, так как оказалась никем иным, как **Любовь Ивановною Жеребч...** (*неразборчиво*), жившею у Юзефович, отца того юноши, очаровавшего меня в 9 лет, который тоже был вдовец и с малолетства поручил свою дочь и сына Влад. Виктор. ее попечению. Уважаемая старушка, знавшая меня ребенком, ласково встретила теперь и просила познакомиться с ее новой питомицей **Соней Шевандиной** (*дочь капитана 1 ранга Павла Алексеевича Шевандина - ?-?*), которая и не замедлила сделать нам визит вместе с отцом своим. Эта некрасивая, загнанная девушка рада была потанцевать и повеселиться, хотя у нас рассказывать о ее сиротстве и семейной жизни, конечно, не мое дело, скажу только, что жизнь эта была не красна, и поэтому Софья Павловна

вызвала, несмотря на свою несимпатичность с первого взгляда, мое искреннее сочувствие и расположение.

Наступило желанное лето. 14 июля был день рождения Анюты Вороновской, и я собралась к ним на этот праздник. За два дня, подъезжая, по обыкновению, с Алешей к Тростянке, нас встретили сам старичок Михаил Иванович и Владимир Михайлович, упрашивая выйти из экипажа и остаться, несмотря на то, что ни Елены Петровны (матери), ни Анюты не было дома. "Зато есть бабушка наша", - поспешил успокоить Влад. Мих. насчет присутствия в семье женского персонала. Я осталась, а Алеша поехал дальше в Бественку. Был уже вечер, недолго пришлось мне побеседовать с Владимиром Михайловичем после годичной разлуки, но все же мы встретились, как давнишние друзья, и я успела порассказать, что и как читала, а папаша только ухаживал за мною, угощая уже поспевшими плодами. Был тут и мой братчик Поль, помогавший в зале Михаилу Михайловичу и Саше маленькому готовить фонарики и вензель для завтрашней иллюминации. По случаю этого сюрприза новорожденную и постарались спровадить в гости.

На другой день я встала очень рано, покупалась и отправилась с французской книгой на любимый свой обрыв под вековые липы над Сожем. Не прошло и четверть часа, как сюда же пришел Влад. Мих. Он сперва сидел, потом встал и прислонился к дереву. Беседа шла о моей жизни, о том, что при такой сфере нужны еще занятия, которые бы руководились какой-нибудь серьезной целью. Я выражала сожаление, что не знаю основательно французский язык, а то бы занялась переводом. Тогда Владимир Михайлович стал ободрять меня и упрашивать, чтобы я не медля попробовала что-нибудь перевести, предоставив оценку, если доверяю, ему. Увлекаясь, таким образом, разговором, я больше слушала, не глядя на говорившего, но, подняв глаза, вдруг невольно смутилась. В первый раз я так отчетливо увидела профиль Владимира Михайловича, окаймленный черными кудрями, и заметила, что давно-давно где-то видела эту небольшую энергичную фигуру. Но - где? Лишь теперь, обратив внимание на свой почти неизменный во время летнего сезона розовый костюм, припомнила далекий сон...

"Борьба нравственная не хуже ли войны?", - невольно подумала я, а я уже знакома с нею. "Не тот ли герой теперь передо мною, который выведет меня на нее смело с верным оружием в руках? Не такую ли я видела себя во сне, много лет тому назад?" Правда, то был оригинальный сон, но все же сон, неужели же сны и вправду сбываются? Не верится, но по опыту приходится думать, что сон есть факт далеко неразгаданный, который иногда слагается так отчетливо, что как неведомый пророк может служить предвестником будущего.

Скоро мы услышали стук подъезжавшего экипажа, и приехавшая Анюта выпорхнула к нам в сад. Однако, несмотря на то, что мое присутствие было сюрпризом, мне показалось, что она вовсе не была рада, и такая неровность отношений, впервые замеченная, неприятно подействовала на меня. Зато, милейшая мамаша Вороновских положительно приковала к себе мою душу, до того она была ласкова, до того интересовалась всем, что до меня касалось, что я не могла не оценить эти, столь непривычные отношения ко мне. Когда мы ложились с Анютой спать, то Елена Петровна всегда приходила, садилась ко мне на кровать, дружески беседовала и кончала благословением на сон грядущий. Приходилось мне иногда быть миротворцем между матерью и дочерью, которые начинали ссориться из-за того, что Анюта не хотела иногда молиться вечером или утром, а это было больное место Елены Петровны. Так, например, она однажды с восторгом сообщила мне, что заметила, как Володя ее крестился, ложась спать. Несмотря на возвращение Анюты, я урвала часок, чтоб перевести небольшую статейку "о воспитании воли" и вечером отдала ее В.М. На другой день он возвратил мне ее с небольшими поправками, и я решила отослать ее в Питер своей кузине, как опытному судье в этих делах.

14-го к Вороновским съехались гости, - все родные, какие-то кузины и еще тетушка **Мар. Гри.** и рыженькая кузина Анюты из Орла. Эта последняя сразу возбудила во мне антипатию, но, увы, Анюта сейчас же поддалась ее влиянию, чем очень огорчила меня. Уселись мы, было, всей компанией читать на балконе, но слушала В.М. кажется я одна. Рыженькая все хихикала, шепталась с Анютою, указывая глазами на нас, и кончила тем, что поссорила ее с братом. Однако, после обеда мы все пошли в лес, там В.М. вынул из кармана маленький словарь иностранных слов и предложил мне взять его себе. На обратном пути я уловила Анюту одну и убедила ее помириться с братом. Вечером устроилась иллюминация, даже танцы, но весело не было. *(На следующий день)...* Были именины В.М. Этот день прошел скромно, но после обеда все разъехались, и мы отправились в лес жарить грибы своей компанией, и гораздо приятнее провели время, чем накануне.

Сделав некоторый навык в серьезном чтении и привыкнув относиться к нему внимательно, может быть, из стыдливости запнуться при неожиданной проверке, я запаслась книгами и уехала в Бественку, а потом домой, но перед выездом из Тростянки побывала у Софьи Павловны Шевандиной. Хотела познакомить ее с Анютою, отец же С.П. восстал против этого с видимым страшным недовольством. Наступила осень, и В.М., уже окончивший курс, проехал через Смоленск в Петербургский университет.

Жизнь моя текла обычной колеєю, но, странно, отец, который сперва восставал против возможности моего замужества по слабости комплекции, теперь вдруг напротив заинтересовался этим вопросом, завел переписку с Питером и Москвою о каком-то женихе - князе **Вадбольском**, влюбившемся будто бы в мою карточку, которую видел там, у замужней сестры моей невесты... *(неразборчиво)* **М. Мороз.** Заикнувшись насчет этих лиц, и встретив раздраженной грубой отпор с моей стороны, он призадумался, но скоро милые кумушки, вроде нашей Агаши, разъяснили ему загадку по-своему: "она влюблена в студента Вороновского", и Матап подлила масла в огонь, пояснив: "Вот я недаром говорила, терпеть не могу этих нехристей-нигилистов, собьют Юлю с толку". И пошли фыркаться при приезде кого-нибудь из Вороновских, а гимназисту М.М. даже отказывали когда он приходил. Это возмущало меня до крайности, и я дошла до сквернейшего настроения.

На праздник Рождества Христова или Масленицу, не помню, приехал В.М., и вся семья перебралась на недельку в Смоленск, чтоб вывозить Анюту. Все обедали один раз у нас. Я ходила, как в воду опущенная, зная все задние мысли домашних, и вместо того, чтобы стусевать эту неурядицу и натянутость, сама молчала и сильно хмурилась. Прислуга подметила это и объяснила по-своему: "хандрит, мол, опять". И снова старый гнет таких мнений начал давить меня. После обеда Вороновские сейчас же собрались домой, упрашивая идти с ними. Трудно мне было выпроситься, да и не хотелось идти, потому что лгать я не умею, а правду на этот раз сказать им (на неизбежные допросы о причине настроения) не могла. Однако, дорогие гости так подстегнули мое самолюбие, что я сделала усилие, и когда Папа ушел отдыхать, просто объявила Матап, что ухожу гулять с Анютою. Не успела она подумать, да поворчать, как я уже была на крыльце.

У Вороновских я провела весь вечер, но, как ни расспрашивали они меня, я тупо молчала. В.М. бродил задумчиво и просил сестру выпытать у меня причину такого страшного настроения, но я сказала ей только о самом ничтожном желании отца выдать меня замуж. Наконец В.М. принялся сам развлекать меня и стал говорить о совсем постороннем, например об интересном содержании книги Дренкера, которую дал мне, советуя теперь же читать ее. И В.М. действительно удалось рассеять тучу. Я начала говорить. Заметив быструю работу мысли, успокоилась относительно пагубного влияния подозрений, хандры, а главное, видя горячее участие В.М., мне стало все трын-трава.

На другой день он уехал, наши успокоились, я принялась читать с мечтою о лете, потянула незаметно зимнюю ляжку, чувствуя, какую силу вдунул в меня живой человек, и как легко на сей раз отделалась я от того настроения, которое снова готово было задавить меня. Кстати, должна упомянуть, что в продолжении зимы мне удалось наконец познакомиться Анюту с Соф. Пав., которая осенью осиротела. Наступила весна. В начале июня, помнится, что я пошла к кому-то в гости и проходила, в сопровождении лакея, мимо дома Вороновских. Гляжу, - подъезд открыт, следовательно, кто-нибудь да приехал в город. Недолго думая, я отправила лакея домой, а сама шмыгнула на крыльцо и, пройдя наверх, встретила там старичка Мих. Иван. и В.М., который, перейдя на 2-ой курс, уже вернулся на каникулы из Питера.

Радость была неожиданная, а добрейший старичок Мих. Иван., возьми, да и оставь нас одних. Видя, что Мих. Иван. ушел куда-то, я стала тоже собираться, но заметна была натянутость с моей стороны и желание удержать - с другой, что привело к какой-то безотчетной маленькой борьбе, потому что я подала руку В.М., он не выпускал ее, я хотела отдернуть, но неловким движением стукнулась с ним головою и потом простояла, невольно смутясь, несколько секунд рука об руку, после чего бегом пустилась с лестницы, чувствуя какое-то странное кружение головы. Просидев с часок у своих новых знакомых, некто **Нечаевых**, куда приказала придти за мной лакею, я отправилась домой и застала там приехавшего из Питера кузена **Феликса**. Этот симпатичный юноша возмужал порядком, прослужив уже с год в Петербурге в военном окружном суде и теперь перешел на службу в Смоленский окружной суд, поближе к своим старым родителям, жившим в г. Суреже близ Витебска. В июле, незадолго до своих семейных праздников, Анюта приехала в Смоленск вместе с Соф. Пав. Шевандиной и, объявив, что у них широкие планы веселья, стала упрашивать Папу отпустить меня. Отец не переставал симпатизировать этим барышням и отпустил меня к всеобщему недовольству нашего домашнего штата.

И вот, я снова очутилась в Тростянке, где шли оживленные приготовления к предполагаемым живым картинам. В Тростянке было двое посторонних молодых людей из товарищей В.М. Шевандина. Соня с братом тоже нередко заглядывала. Нельзя не дивиться, глядя на эту девушку, ставшую богатою и свободною, несмотря на то, что она признавала непривлекательность своей наружности, говоря, что замуж не пойдет (так как, если кто посватается за нее, то верно только из за денег). Соф. Пав. замечательно переменялась. Одета со вкусом в ловко сшитое платье, оживленная среди вольной беззаботной жизни, она неузнаваемо похорошела. Беда только в том, что она совсем очаровала Анюту и даже Елену Петровну, видимо, влияя на них против меня, как оказалось уже впоследствии. В.М. редко выходил, когда приезжала С.П. и говорил мне, что не симпатизирует этой личности. Мы продолжали усердно перечитывать его библиотеку, и, однажды, шутя, он учинил такую проказу: читали мы какую то статью, в которой упоминалось о соленом вкусе слез и телесной влаги, он как бы машинально взял мою руку и поднес к губам с целью узнать вкус влажной кожи.

Однажды мы ушли с ним в глубь сада под липы и уселись там на траве, но вместо чтения В.М. вдруг вздумал меня спрашивать о давнишнем зимнем настроении. Не знаю, что внушало мне беспредельное доверие к этому человеку, но только я чувствовала, что он один в состоянии понять мое положение до тонкости, и, узнав какую меня считали другие, никогда не станет с ними заодно. Теперь я думаю через много лет: "не повредила ли я этим его чувству ко мне, не боялся ли он, хотя любил, соединится навсегда?" Одним словом, я через 12 лет заговорила с ним так откровенно, как, бывало, только ребенком говорила с Тетею-Мамою. В.М. выслушал меня внимательно и только с досадою произнес: "Да, скверно, но неужели же гибнуть от комариного жала? И стоит ли человеку, стоящему несравненно выше всех этих людей, обращать внимание на ерунду? Стойте дальше, отдайтесь всецело труду, читайте серьезные вещи, излагайте, что прочтете. Вы увидите, как расширится от этой работы Ваша мысль. Верьте в свои силы, как бы малы они не были, и я уверен, что Вы

растопчите эту поганую сферу..." Мне было так хорошо, так легко, что пересказать этого я не берусь. Знаю только, что с этой минуты я приобрела истинного друга, давшего мне такую силу, которая не сломится во мне до могилы.

Наступило 14-е число. День протянулся среди обычных поздравлений, угощений и церемонных разговоров в гостиной. Молодежь суетилась на обрыве близ Сожа среди приготовлений к живым картинам. Я тоже участвовала, главным образом, в одной из них "братья-разбойники", представляя девушку, которую атаман (В.М.) хочет убить. Все же остальные лица, даже Анюта и Соф. Пав. были в мужских костюмах и изображали в разных позах табор разбойников у костра. Гримировка была очень удачная, мы даже испугались друг-друга, когда сошлись вечером для установления группы. В этой суе Анюта вздумала еще поцеловать меня, и не знала я, что этот поцелуй потом спасет меня.

Картина под пурпурным бенгальским огнем вышла очень удачно. Когда он догорел, все участвующие разбежались кто куда, чтоб переодеться, но ни я, ни "атаман" не должны были спешить к переоблачению для следующей картины. И потому я пошла влево от обрыва и стала перелезать впотьмах через плетень близ ледника, как вдруг, послышались торопливые шаги, и кто-то стал помогать мне. Я чувствовала только горячее дыхание у своего лица, которое сперва касалось распущенных волос моих, а потом крепкий поцелуй ошеломил, но не испугал меня, так как я хорошо знала, что возле меня - никто иной, как дорогой друг.... Сияющие, мы вошли в залу из разных дверей, но какого же было мое смущение, когда окружающие захохотали, взглянув на меня, вымазанную черными усами... Хорошо, что в присутствии Анюты я могла сейчас сказать, что это - от ее нежного поцелуя во время гримировки.

Таким образом, закрепились между мною и В.М. новые отношения. На другой день, конечно, - поздравление именинника. Среди благодатных зарослей не обошлось без этого дружеского выражения взаимного расположения, кроме того, В.М. предложил мне поменяться шейными крестами. Я надела его крестик, а ему передала свой фамильный с надписью "да сохранит тебя Бог" или "спаси и сохрани", не помню. Наверное, одним только сильно огорчил меня В.М., - это своим условием, которое, правда, он с трудом выговорил, а именно просьбою: возвратит ему его крестик, если когда-нибудь почувствую, что полюбила другого. Я так твердо верила в невозможность этого, что очень и очень опечалилась, вызвав его сама на откровенность по поводу какой-то печальной недомолвки. Перед отъездом в Питер нам пришлось прощаться в Смоленске, и я нашла у себя в руке маленькую записочку, которая начиналась следующими словами: "Думы мои многодневныя на родимую грудь изолью..." Далее просили верить, что при малейшем призыве верный друг всегда явится на помощь и заканчивали подписью: "все тебе от всего твоего В.М.". С этим талисманом осталась я вполне счастливая, бодрая и неустрашимая.

Занятия свои я распределила теперь уже более целесообразно. Получив неодобрительное мнение кузины о французском переводе, я, ввиду того, что когда-нибудь приведет же меня Господь в Питер, достала программу экзамена на сельскую учительницу при столичном испытательном комитете и стала сперва сама готовиться к этому наилегчайшему испытанию. Я совсем не была знакома с подобными официальными отчетами своих знаний, дающими уже некоторые права именно на ту деятельность, к которой я с детства чувствовала особенное стремление. Будучи сама 13-ти лет, учила преупрямую девочку Дуню, дочь нашей кухарки, и, ломая эту упрямую натуру, видела, что обладаю немалым терпением. Учились мы с нею нередко потихоньку, так как ей не позволяли учиться наши домочадцы, находя это лишним для простой девочки, а мне не позволяли учить, "тратя время на пустяки". Я развила в Дуне необыкновенную привязанность к себе, искреннюю любовь и веру в Бога и замечательное стремление к ученью. Это возникло, конечно, благодаря расположению ко мне, лично дающей пример ревностными занятиями, но успех

учения Дуни шел медленно, потому что я за ее упрямство не умела придумать иногда иного наказания, как угрозу не учить ее за это час, день, два и, выдерживая характер, несмотря на слезы девочки, теряла время, да и вообще не умела учить, сама этого не сознавая.

В то время, к которому относится мой рассказ, я имела трех учеников, так как к Дуне прибавился начинающий азбуку племянник мой Володя, не менее упрямый и избалованный донельзя мальчик, да еще Саша Вороновский приходил заниматься немецким языком, готовясь в гимназию. Кроме того, я серьезно отдалась чтению и изложению прочитанного и действительно видела, что голова светла. Таким образом, время летело совсем незаметно, тем более, что я нежданно негаданно завоевала некоторую свободу в образе действий, да приобрела еще доброго, любящего человека в лице кузена моего Феликса, посещавшего нас ежедневно. Этот родной относился ко мне с замечательной теплотой и вниманием, но, будучи несколько загадочным, заставлял меня сперва несколько сторониться его. Что же касается до завоевания свободы, то вот, как это случилось.

В бытность мою в Тростянке я вспомнила, что одна из моих знакомых барышень просила меня достать у Анюты маленькую иллюстрированную физиологию. Уезжая, я и попросила провожавшую меня Анюту захватить эту книжку. Приехав с самым ранним поездом, я утомилась и дома улеглась спать днем, поэтому не видела когда Агаша с Матап разобрали мои вещи, так как им понадобился саквояж. Уже через неделю, когда моя знакомая спросила у меня, привезла ли я для нее книгу, я спохватилась искать ее и, нигде не найдя, думала что Анюта увезла ее нечаянно обратно. Но последняя ответила отрицательно, и тогда только я поняла в чем дело. Стала пристально присматриваться к полочкам с книгами у отца и, несмотря на сделанную обертку, узнала пропавшую. Этот поступок тайного похищения возмутил меня. Выждав минутку отсутствия отца, я отплатила тем же, т.е. взяла книгу обратно, не сказав.

Отец, вероятно, скоро заметил это, но молчал еще несколько дней, пока у нас в доме не пропала серебряная ложка. Тогда он торжественно призвал меня вечером через лакея в свою комнату и строго, но тонко спросил: "не шарила ли я в его комнате, искав пропавшую ложку". Я не люблю окольных путей и потому прямо ответила, что не имею обыкновения шарить, а беру прямо то, что мне нужно, и действительно взяла свою книгу, не сказав, поступив так по его же примеру. Насколько этот ответ задел отца, трудно было заметить, но протянув обычное "да", он начал свою длинную нотацию, и с каждой фразой становился все раздраженнее, говорил о том, как он любил меня, как берег, как стремился сохранить в своей единой дочке тот перл невинности и чистоты, который составляет незаменимое украшение девушки, что считал меня невинною как ангела, что хотел видеть во мне образ покойной матери, которая, когда вышла замуж, была совершенно несведуща в тех циничных сведениях, которые совсем не нужны для девушки, что моя Матап, дожив до 60 с лишком лет, пришла в ужас от иллюстрации и содержания перехваченной книги, что он сам, наконец, не мог читать ее без содрогания при мысли, что такие книги предлагают для чтения нынешним женщинам. "И вдруг, я узнаю", - продолжал отец, - что ты читаешь такую книгу, читаешь, благодаря знакомству с этим мерзавцем, которого я никогда не допущу к себе в дом, и что же смотрят его беспечные родители, чем ограждают они от такого пагубного влияния свою дочь? О, я не оставлю этого, я покажу им, какое зло они допускают в своей семье и осмелились внести в мою..", - заключил, наконец, отец задышающим голосом.

Выслушав эти незаслуженные жестокие упреки себе и близким мне людям, я почувствовала, как ужасно сжалось мое сердце, но с неменьшею твердостью отвечала, вынужденная в первый раз в жизни говорить о том, о чем всегда молчала, боясь огорчить отца упреком за прошлое, которое он и не знал: "Удивляюсь, Папа, как

охраняли Вы меня от всего дурного, когда не знаете многого, от чего в детстве пришлось мне страдать. Верю, что любите меня, но за что же обижаете, когда узнали такую, какая я действительно есть, и хотя я не настолько несведуща, какую была мама, может быть пострадавшая именно от этого, так как не умела гигиенически оградить свой слабый организм от вредных влияний замужней жизни, но, тем не менее, не знаю, за что же стоит больше любить ту дочь, которую заставляли скрывать перед любимым отцом, притворяться и даже гнусно врать, чем ту, которую вы узнали сейчас, говорящую Вам правду, стремящуюся к прямым отношениям с Вами без посредничества разных сплетниц вроде Агаши, Пелагеи и т.п. Наконец, в настоящую минуту вы напрасно обвинили не только меня, но и тех лиц, которые решительно ни в чем не виноваты, и которых я всегда буду уважать. Просветиться физиологическими сведениями, и не без пользы, я успела очень давно, и теперь брала книгу вовсе не для себя. Что же касается до взглядов других родителей, то они действительно противоположны Вашим, и в серьезном знании изнанки жизни они видят только средство к ограждению неопытной девушки от зла и от пагубных ловушек, в которые нынче так легко попасть сентиментальной барышне, представляющей себе все в розовом цвете".

После такого неожиданного отпора я дождалась того, что отец впервые вытолкнул меня за дверь своей комнаты. Больно отозвалась в моем сердце эта борьба понятий отцов и детей, но я твердо пошла в свою комнату, сказав два слова: "я не заслужила этого и теперь не переступлю Ваш порог, пока Вы сами не согласитесь с моей невиновностью". Скрепя сердце, я даже насильно поужинала, гордо глядя на всех любопытных, видимо, ожидавших чего-то ужасного, либо повторения прежних историй при помощи рвотного и т.п. И, правда, стены моей кельи были свидетелями тех рыданий, которым я ночью дала простор, но у меня теперь был друг, и скоро я успокоилась, излив ему письменно все свое горе. Кроме того, я написала Анюте и Елене Петровне, предупредив о предстоящем объяснении, и наконец уселась за краткий дневник своего детства, где описала, как постоянный ход своего развития, так и 4-летнюю пытку побоев, которая для всех была неизвестною.

Утром, после подобной бессонной ночи я чувствовала себя отлично, так как вылила все горе на бумагу, а совесть моя была спокойна. Уснув на часок, я встала и отправила с маленьким внуком дедушке (т.е. Папе моему) приготовленное сказание, уяснившее все вчерашнее и мое детство, оделась и, впервые не говоря никому ни слова и не спрашивая позволения, ушла из дома одна без лакея на целый день. Нагулялась, побывала в церкви и у знакомых, а в 9 часов возвратилась, не встретивши ни от кого замечания.

Так тянулось дело две недели, но самостоятельность была завоевана навсегда. С отцом мы не здоровались и не говорили, однако, он заявил мимоходом, что пишет мне ответ, и действительно через две недели я получила длинную меморию всей его жизни, где он описал, как с 21 года был опорой семьи своего отца, как воспитал всех братьев своих, как относился потом к своим детям, желая им только полного счастья и недоумевая, как скрылась от него закулисная сторона моего воспитания, но видно было, что ему очень больно узнать это и точно в награду за эти напрасно вынесенные страдания он с этой минуты предоставил мне свободу. Старик Вороновский не замедлил явиться и вел с отцом прение прекрасно, они расстались довольно хорошо, и с этого дня мы с отцом помирились.

На праздниках Рождества Христова, либо на Масленицу, не помню хорошо, семейство Вороновских проводило время в Смоленске, переселяясь на месяц или на два в свой дом. Пользуясь зимними праздничными вакациями, и В.М. прикатил на недельку- другую. Эти деньки пролетали незаметно. Несмотря на недовольство домашних, я почти ежедневно проводила время у Вороновских, а в те дни, когда это не удавалось, изловчалась уходить к кому-нибудь из других знакомых, но сперва встречалась в условленном месте с В.М., и несмотря на зимнюю пору, совершала с

ним долгие променады за город, большею частью по Крас. дороге или Рос. шоссе. Надо упомянуть, что, несмотря на видимую определенность наших отношений, признаний между В.М. и мною в испытываемых чувствах никогда не было. Помнится, как в один из вечеров проводимых мною в его семье, оно совершилось несколько оригинальным образом, но, признаюсь, не оставило никакого впечатления. В.М. взял лист бумаги, свернул длинную трубку и, шутя секретничая, стал шепотом говорить через нее. Дошел черед и до меня. Я услышала только одно слово "люблю", после чего В.М. стал приставать, чтобы я ответила на это, но не добился исполнения желания.

За несколько дней до этого я читала статью Михайловского, в которой анализировались всевозможные чувства человека, и была страшно возмущена мнением этого даровитого писателя о любви между мужчиною и женщиною. Он доказывал, что это чувство есть не что иное, как влечение полов, и так цинично рассуждал об этом, что я успокоилась только пословицею: "всяк молодец на свой образец и любит мерить своим аршином". Но слово "люблю" с этой минуты потеряло для меня прежнее значение. Я чувствовала, что его мало кто понимает, и большинство, признавая его действительно, руководствуется лишь просто одною чувственностью....

На другой день после "трубного гласа" мы условились с В.М. вечером встретиться на прогулке. Бедняга, несмотря на сильную головную боль, исполнил обещание. Часов в 7 мы нашли друг друга у крыльца дома Потемкиных и отправились при лунном свете бродить в глухой местности. Я очень беспокоилась, чтобы зимний холод не усилил простуду моего дорогого спутника, и в то же время, увлекаясь, не могла настоять на сокращении прогулки. Помнится, как В.М. варьировал беседу на вчерашнюю тему и выражал настойчивое беспокойство относительно моего молчания, после его вчерашнего признания. "Скажи, любишь ли?", - молил он, осыпая меня поцелуями. Мы невольно остановились на узкой дорожке среди громадной безлюдной и пустынной площади, что за стеною близ Благовещенских ворот. Чудный небесный свод сверкал мериадою звезд, да и на земле среди вчерашней тишины было так холодно...

Каждая крошечная снежинка унизывала бриллиантами тот дивный белый ковер, который окружал нас, а дедушка мороз усердно спешил увенчать прелестные кудри моего спутника.. Как ни обаятельно влияло все это на меня, как ни глубоко сознавала я важность того слова, о котором меня молили, и все же произнести его не могла, зная, что это слово профанируется многими. Оно казалось мне совсем недостаточным для выражения великого, неизъяснимого чувства, наполнявшего мою душу... Помню, что после долгого молчания я заговорила. Теперь, конечно, трудно возобновить вдохновенный МОНОЛОГ той речи. Знаю только, что я употребила всю силу слова, чтобы хоть сколько-нибудь определить могучую силу и полную чистоту святых чувств, переживаемых мною. То была молитва перед человеком, посланным мне Богом. Сказать же "люблю", - значило не сказать ничего. Не знаю, понял ли меня дорогой друг в ту минуту, полагаю только, что его не удовлетворили мои отношения. Он вероятно считал меня идеалисткою и даже однажды назвал рыбою с холодной кровью, не умеющую ответить на горячее чувство.

После праздников В.М. уехал в Питер, но, конечно, зимнее свидание значительно сократило время сурового сезона, и разлука при постоянной переписке не была ощутительна. Наступило лето. Я снова поехала к Вороновским в деревню, просто заявив дома, что "еду, мол, в Тростянку". Но увы, нежданно негаданно милый уголок начинал чуть заметно для меня блекнуть вместе с наступлением осени. Милая соседка Соф. Пав. завоевала окончательно Анюту, вооружила ее против меня и уловчилась внушить всей семье, что я выказываю расположение к ней только потому, что влюблена в В.М. Одну из данных мне для чтения книг изволила вручить моей Матап, вероятно, с целью вновь возбудить ссору, одним словом, добилась того, что Елена Петр., которая так любила меня, выразила опасение, чтобы ее любимчик

Володя не заболел, увлекаясь мною, и, поверив гнусному наговору, что я увлекаю его, стала относиться ко мне холодно.....

Боже, как больно было мне это заметить... Анюту - эту единственную девушку, которую я без памяти любила, стыдно сказать, просто ревновала, она совершенно отстранила от меня, но дело этим не кончилось.. С.П. в день своего совершеннолетия 5 сентября затеяла домашний спектакль. Мне хотели дать роль старушки, но никак не могли сделать из меня старушку, поэтому я совсем отказалась участвовать. И вот, С.П. и Анюта приняли, конечно, главные роли барышень-кокеток, остальных исполнителей также выбрали довольно удачно, и только героя водевильчика некому было исполнить, а В.М. долго отказывался, наконец поддался, узнав за несколько дней до спектакля, что взявший на себя эту роль не приехал...

Начались репетиции, оживление участвующих возрастало. В.М. не раз говорил мне, что поневоле должен будет целовать ручки С. Пав., но в ту минуту будет думать, что целует мои... Однако, сердце мое чуяло невольное значение этих поцелуев для всякого мужчины вообще. Наступило 5 сентября. В.М. играл прекрасно, совсем вошел в свою роль, С.П. сияла, Анюта наивно исполняла свою роль и была очень мила. После спектакля все пустились в пляс, танцевал и В.М., который никогда не танцевал, но зато я не танцевала. К счастью, в это время приехал запоздавший на праздник Колачевский и привез немало интересных рассказов. Мы, как старые знакомые, обрадовались друг другу, и я проговорила с ним весь вечер.

В час или в два ночи вижу, - Владимир начинает следить за нами, заговаривает, видимо, хочет отвлечь меня и наконец добивается. Я ушла с ним в залу, потом на балкон и скоро узнала, что так мучить не хорошо, и что меня страх как ревнуют. Конечно, с меня этого было довольно, и я поспешила успокоить своего друга... Но зато Соф. Пав. взбеленилась, а я-то и не заметила этого сперва. Только за ужином она со злости, что ли, стала глотать рюмку за рюмкою, и в конце-концов, когда встала из-за стола, едва дошла со мною до темного балкона, где грохнулась бы без чувств, но я поспешила обежать кругом и привела В.М. и еще одного барина, которые и снесли ее через сад в отдельную половину дома, где она долго лежала, а потом начала бредить, звала все В.М.

Анюта плакала, боясь, что Соня захворает, и осталась ночевать, а я на зоричке, еще при лунном свете поехала с В.М. в Тростянку неожиданно вдвоем, так как старичок его Папаша, усадив нас, сам поехал домой один в Смоленск. Дорога эта ночью не оставила о себе приятного впечатления. Владимир был как-то порывисто горяч, я не умела отвечать на его ласки, они даже не нравились мне, и хотя при беседе о Соф. Пав. он и выразился как бы с презрением, что "девка, мол, с жиру бесится", но и про него в ту минуту можно было сказать, что и он бесится, только не знаю с чего. Однако презрительный отзыв В.М. про Соф. Пав. не успокоил меня.

На другой день, увидя ее, я стала жалеть эту девушку, мне страх как захотелось узнать, действительно ли она его любит, может ли она быть хорошею подругою жизни, стоит ли она его? Эти вопросы мучили меня, став животрепещущими. Мне казалось, что я готова уступить Владимира как жениха, как мужа, потому что замечала громадную разницу в моем чувстве к нему и в его увлечении мною. Что же касалось до дружбы, то я не думала, чтобы привязанность к другой женщине могла вытеснить ее, и, странно, я не ревновала его к Соф. Пав., старалась с этих пор стусеваться и, хотя, признаюсь, мне было больно замечать, что он не только не избегает ее как прежде, но даже охотно следует за ней, все-таки не мешала этому и скоро уехала в См-к.

А В.М., несмотря на учебные месяцы оставался все в деревне. Наступил октябрь. В день Покрова Богородицы я отправилась к обедне, но, идя мимо дома Вороновских, заметила, что крыльцо открыто и зашла узнать кто приехал. Какого же было мое удивление, когда весь дом и даже кухня оказались пустыми, и только наверху у самой лестницы стоял, прислонясь к притолоке, старик Мих. Иван., весь

мокрый, и кувшин валялся около него. Я ужасно испугалась, узнав, что с ним вдруг случился удар, однако настолько легкий, что упав, он успел сам встать и окатиться водой. Усадив почтенного старичка в кресло, я побежала искать жену их дворника, а потом отправилась на квартиру маленького Саши, который мог бы привести доктора, но Саша оказался в церкви и потому, экспедировав за медицинской помощью кого-то из семейства Михайловых, у которых жил Саша, я пошла известить его в Авраам. монастырь.

Кстати, упомяну теперь о новом знакомстве. В числе соседей по имению брата Алеши в Рославльском уезде были некто **Раздеришины**, - брат и сестра. Оба - совсем юные, круглые сироты, и оба, - трагически кончившие свою жизнь в цвете лет. 19-летний юноша убит был лестницею на улице, упавшею от ветра, 20-летняя сестра его, вышедшая замуж, на второй год счастливой жизни улетела в лучший мир от чахотки. И все это совершилось на моих глазах. Не мудрено, сочувствие с моей стороны после сильного впечатления надолго охватило меня.

Я знала что у Раздеришиных остался один только родной и тоже круглый сирота, это кузен их некто.. *(неразборчиво)*, владевший именем визави имения моей... *(неразборчиво)*. И вот, однажды, ехав с Матап к обедни, незадолго до Покрова дня, я заметила, что Алеша, сидевший визави нас в коляске, раскланялся с кем-то. Невольно



я выглянула из коляски и увидела близ дома Кн. Дондукова высокого, белокурого юношу.. "Кто это? - спросила я брата. "Это - некто **Азанчевский**", - пояснил он, наш, Рославльский *(фото Азанчевского Василия Васильевича - 1850-1916)*. Теперь он квартирует у Ник. Степ. (последний имел свой дом близ Георгиевской церкви, там жила и мать Воронцова). Я удовольствовалась ответом и пристально посмотрела на проходившего юношу, заинтересовавшись им, как кузеном Раздеришиных. Но, оказалось, что это вовсе не он, и даже в фамилии была чуть заметная разница. Впрочем, мать и сестру этого Азанчевского я тоже встречала несколько лет тому назад, а скоро, благодаря Н.С., пришлось познакомиться и с братом их, но юноша очень не понравился мне.

Безотчетно я старалась избегать с ним встречи и более короткого знакомства, а теперь, как нарочно, я встретила с ним в церкви Св. Авраамия и отправилась в компании его, еще одной барышни **Козловской** и Саши Вороновского на Никольскую улицу. Дойдя до дома Вороновских, я рассталась с ними, но больного застала уже лежащим на кровати без ноги, руки и почти без языка. С ним повторился удар... Послали телеграмму, и к вечеру приехала Елена Петр. с Владимиром Михайловичем. Потом начали собираться все дети почтенного патриарха семьи, - он ведь был женат во второй раз и имел еще от первого брака 5 человек детей, да всех уже замужних, так что внуков насчитывали до 24. Совершилось печальное (соборованье) прощание со всеми родными, старика причастили и ожидали страшного конца, так как доктора не брались вылечить его, но старик тянул, и страдания его увеличились тремя карбункулами, последствием, коих было гниение тела у живого человека. Родные, окружавшие больного, старались облегчить страдания, чем только могли.

Так прошел месяц. В.М. решился, наконец, ехать в Питер продолжать свой курс и хотел посоветоваться насчет отца со столичными специалистами этой болезни. Дня за два перед отъездом, он сообщил, что не думает больше продолжать со мною переписку, так как расстояния Петербургские ужасны, а ему каждый раз приходилось сделать верст 8, чтобы дойти к Сашеньке Горбуновой, жившей тогда в Питере и попросить ее сделать адрес на письме своим почерком, иначе нельзя было писать. Эта пустая отговорка сразила меня как громом. "Боже", - подумала я, разве нельзя сделать запас адресованных конвертов, или придумать другой способ корреспонденции. В то

же время холодность Анюты дошла до невозможного. Она просто объявила мне, что не чувствует больше ко мне прежнего расположения и сама не знает, почему "охладела". Это признание стоило мне горьких слез и тяжелой бессонной ночи, но нечего было делать, надо было покориться первому разочарованию.

Что же касается до В.М., то я решила написать ему несколько строк, поставив вопрос ребром. Я предложила ему писать на имя моего кузена с передачею мне без затруднений, но, указывая на Анюту и ее откровенность, просила его последовать примеру сестры и произнести слово "охладел". Также смело накануне отъезда В.М., я отправилась к Вор-м вечером, вместе с гостившей у меня З.Д. Потемкиной. За чаем я получила потихоньку ответную записочку и спешила уйти в сени, чтобы прочесть ее... С каждым словом я чувствовала, как настоящее отодвигалось назад... Слышалось "прости" на вечную разлуку. Потому что друг, не переставая жить, умирал для меня.... Он просто выяснил модным в наше время языком, что не может в жизни отдаться одним увлечениям сердца, что кругом много серьезного дела, которому каждый обязан посвятить свои силы, что любовь для него как станция в пути "приехал, отдохнул немного...." и скажешь: "станция прости..." Затем выражалась уверенность в моем благоразумии в силу моего характера и мольба успокоить письмом насчет своего настроения.

Оправясь немного, я возвратилась в комнаты и стала прощаться. В.М. проводил нас на крыльцо. Не знаю, чужо ли его холодное сердце, как беспощадно разбивало оно другое, навеки преданное и им воскрешенное, но я едва держалась на ногах и, кажется, от З.Д. не ускользнули те две слезинки, которые невольно повисли на моих ресницах, когда мы сели с нею на извозчика... То были слезы на свежей могиле счастливого и никогда невозвратимого прошлого. Когда я вернулась домой, мне некогда было убиваться, потому что у З.Д. было тоже горе, ей отец не позволял не только выйти за любимого человека, но даже запрещал видеть его, а сам был опасно болен. Когда же он умер, то она сама не знала как ей быть, идти ли туда, куда влекло сердце, или остаться там, где указывал отец? Я стала невольно ее душевной поверенной, успокоила насколько могла, и сама, утешая другую, ободрилась.

В 3 часа ночи З.Д. заснула, а я услышала свисток далеко уносившегося поезда и мысленно благословила дорогого путника... Да, он был для меня по-прежнему дорог, но самолюбие уже сильно говорило во мне, я в первый раз почувствовала, что я стою отнюдь не ниже его, а по внутреннему миру несравненно выше его, сознала в себе личную силу для борьбы с какими угодно препятствиями и сохранила только твердую веру в искренние слова первого друга: "иди смело, борись, и ты победишь, ты растопчешь все, что угнетает тебя". Да, я помнила эти слова и теперь, более чем когда-либо, верила в свои силы и дала себе слово неустрашимо бороться, остаться верной раз избранному пути и доказать, что я останусь неизменной и твердой, а станцией..., станцией одной из многих..., считать себя не позволю и подобной роли никогда не приму.

В этом духе я немедленно написала письмо, которое и послала вслед за путником. Ответ был получен прелестный и очень скорый. Меня хотели убедить, что я



не так поняла и слово "станция" и многое другое, говорили, что теперь еще больше уважают меня и просили писать обо всем. Почему же и не писать? У меня не было данных изменяться, но я чувствовала, что "не течет река обратно", и в то же время не боялась нового течения. Наступил декабрь, и в Петербурге стали поговаривать о предстоящей свадьбе одной из моих тамошних кузин, на которую усердно приглашали. Папа не противился отпустить меня в столицу вместе с кузеном Сашею (вероятно, Александр Платонович Вакар - 1855-1900, фото), который, служа в Смоленске собирался на праздники домой в Питер.

Ввиду этого довольно самостоятельного путешествия я стала еще усерднее заниматься и даже попросила одну знакомую барышню (классную даму и учительницу гимназии) проверить мои знания. Репетиторша моя **Е.М. Можайская** квартировала в семье премилой барыни **Л.А. Глинка**. Бывая у Можайской, я приятно проводила вечера после урока, так как у Лидии Александровны Глинки собирались все любители музыки и устраивали прелестные дуэты и квартеты. В числе этих лиц был один довольно симпатичный господин, некто **Курчинский**, игравший на виолончели. Счастье настолько благоприятствовало предстоящему путешествию, что мне удалось даже получить приглашение от родственника моей...*(неразборчиво)* г. **Третьякова** ехать до Москвы в бесплатном его вагоне, где он помещался с женою, сопровождая по службе партию пересыльных арестантов.

Между тем, и в Смоленске время проводилось довольно оживленно. У нас по воскресеньям собирался обычный кружок молодежи, среди которой прибавилась только одна новая личность - это Азанчевский, о котором я уже говорила. Молодой юноша так усердно посещал нас и так усердно искал вездe встречи со мною, что М. Потемкина, заметя это, не замедлила прозвать его моею тенью. Но скоро я узнала, что шутки в этом случае плохие. Старушка, жившая у Воронеж и постоянно следившая за Азанчевским, таинственно сообщила мне свои опасения и просила пожалеть бедного юношу. Приняв во внимание ее слова, я считала долгом пожалеть симпатизировавшего мне без взаимности, но выразить свое сожаление могла не иначе, как постоянною холодностью, прозрачными намеками на бесполезность односторонней симпатии. Однако, все эти средства плохо помогли.

Приближалось Рождество. Вдруг, кузен мой получил командировку по службе, так что выехать одновременно с Третьяковыми (протезировавшими мне до Москвы) нельзя было. С этой грустной вестью и уверенностью, что путешествие расстроится, я пошла к отцу. Какого же было мое удивление, когда он на эти опасения ответил: "Что ж, поезжай с Третьяковыми, побудешь в Москве у Мороз (сестры моей ...*(неразборчиво)*), а там и одна доберешься до Питера". Такое проявление первого доверия от строгого, непоколебимого в своих взглядах отца привело меня в полный восторг. От радости, что добилась наконец такого доверия, я готова была расцеловать всех и каждого, с кем делилась этой новостью. Моментально я полетела к Третьяковым предупредить их, что еду. Потом облетала всех знакомых, прощаясь на пути, конечно, встретила с Азанчевским, с радостью сообщила ему весть об отъезде... Только у Вороновских я не могла быть, потому что у них кроме Михаила Ивановича захворал еще Саша скарлатиною, и я не бывала, боясь заразить племянников своих.

Зато, давно не видав Анюты, я неожиданно столкнулась с ней. Оказалось, что из боязни скарлатины, она тоже переселилась к замужней сестре по отцу. Довольно продолжительная разлука и необыкновенная оживленность моего настроения хорошо повлияли на нее так, что она с прежнею охотою отправилась ко мне и созналась в желании Шевандиной разлучить и поссорить ее со мною, взявши с нее честное слово, что она охладит отношения свои со мною и не посмеет никогда ночевать и гостить у меня. Открыв секрет, я доказала даже историческими примерами, что давать слово надо строго обдумав его, а необдуманно данное обещание иногда лучше не исполнять, так как последствия этого исполнения могут быть губельны. Успокоив наивную податливую подругу свою, я отлично провела с нею весь день сборов, и дошло до того, что она стала завидовать мне, а я по живости воображения решила что могу взять ее с собою в Москву, тоже бесплатно с Третьяковыми, которые через два дня доставили бы ее обратно. Сказано - сделано. Целью путешествия была поставлена молитва у мощей преподобного Сергия за больного отца Анюты.

После обеда пришел Азанчевский, мы командировали его с письмом матери Анюты, которую просили отпустить ее, но какого же было наше удивление, когда кроме ответа явилась Соф. Пав. Шевандина с грозным видом, чуть не приказывая Анюте идти домой и бросить всякие бредни о путешествии, на которое, конечно, мать

не согласна. Анюта стала горячо спорить с Соф. Пав., и дело дошло до обморока. Я была в отчаянии и успокоилась только тогда, когда Аня пришла в чувство, а Соф. Пав. удалилась, узнав ее решение ночевать у меня. Мы проболтали с нею до света и, казалось, снова были друзьями.

На другой день я узнала, как Елена Петровна, удрученная несчастием и болезнями близких, поверила наветам Шевандиной, что я сбиваю Аню и религиозные цели выставляю только с целью нравиться им ради В.М. Вечером я уехала с Третьяковыми. Мать и Алеша, а так же belle soeure провожали меня на вокзал. Но какого же было мое удивление, когда через станцию в наш вагон снова вошел Азанчевский, объявив, что и он едет в Москву. Не скажу, чтобы это было мне неприятно, жалко только было напрасных преследований. В моих глазах он был мальчиком совсем юным, неопытным, не развитым и любящим говорить даже неправду для красного словца и, в особенности, не знаю почему, мне не нравилось выражение его глаз.

Болтая и читая, мы отлично доехали до Москвы и были радушно приняты г. Мороз, но в первый же вечер г. Мороз выпил за ужином, напоил Третьякова и устроил ночью целую оргию, которая по неприличию своему невозможна даже для описания. На другой день он несколько смирился, и вечер мы проводили довольно скромно. Вдруг, я слышу звонок, отворяется дверь, и в залу вошла молоденькая дама, а за нею промелькнула невысокая фигурка молодого кудрявого брюнета, заставившая меня вздрогнуть и оглянуться, до того напомнила она мне В.М. И действительно, скоро я встретила не менее приятный глубокий взор больших выразительных карих глаз, еще больше напомнивших мне моего друга, но рекомендация "князь Вадбольский" заставила понять действительность. Тут я смекнула, почему отец хотел моего путешествия в Москву.

Сестра князя оказалась очень милою личностью, знающую, вероятно, от Мороз мой вкус, потому в беседе она сообщила, какое прелестное громадное имение в Москве у ее брата, как он любит деревню и все русское, как заботиться о своих крестьянах, устраивая для старых богадельни, больницы и т.п. Сам же братец ее просидел положительно весь вечер смурым, ни с кем не говоря. Я получила приглашение к этим новым знакомым, но, конечно, не поехала бы, если бы не искусство М. Мороз, которая сумела подстрекнуть меня, сказав, что Вадбольский ужасная смурна, никогда ни с одною барышней не говорит, и что, если я заставлю говорить его, то значит превзойду умом и уменьем всех москвичек.

Я поехала и застала князя дома среди группы детей его сестры. С ними он возился весь вечер, не обращая никакого внимания на остальных. Тогда я придумала хитрость: подозвала старшего мальчика, и давай играть с ним в разрезную азбучку, складывая слова, смешивая их, и давая разгадывать. Подобрал два слова: "реалист" или "идеалист", я дала разгадать их князю. Он сложил, ответил, и разговор завязался, да такой оживленный, что едва в час ночи кончился, а в 4 мы с М. Мороз отправились с поездом в Лавру Преподобного Сергия, где я одна помолилась о подкреплении болящего Михаила Ивановича Вороновского.

Какого же было мое удивление, когда на другой день я узнала от М. Мороз, что князь ездил вслед за нами к Сергию, снова придет вечером и интересуется моим мнением и воззрением на будущее, которое просил бы разделить с ним. Я ответила твердым отказом, сказав, что люблю другого, а потом постаралась прозрачными намеками и лично дать ему понять, что "мне смешно столь быстрое увлечение с его стороны, и что оно совершенно напрасно". После этого я еще виделась с князем несколько раз, бывая в Москве. Он познакомился с Алешей и завел с ним переписку, взбудоражил таким образом Папу, который хотел непременно устроить этот союз, но я не поддавалась. Наконец М. Мороз сообщила про князя, что он начинает пить и обещает совсем закутить, если я не соглашусь, в силу чего Матап писала мне: "грешно тебе губить человека". Но я просила ответить князю, что "не ожидала от него

такой слабхарактерности и никогда не соглашусь иметь мужа готового при малейшей неудаче спиваться". Так дело и замолкло.

Между тем, в Москве я бывала еще у своих родных Каховских, которые жили теперь в Белокаменной. У них я встречалась с Азанчевским. Он действовал не так как князь, внимая моим советам, что ему нужно выкинуть из головы всякий вздор, и не поздно еще заняться наукою. Он бросил службу в Смоленске, записался вольнослушателем при Московском университете, так как, учась прежде в "реальном", не знал латинского языка и не мог поступить студентом. Таким поступком он рассердил своего отца (*Азанчевский Василий Николаевич - 1830-?*), который направлял его к службе, и принужден был содержать себя уроком. Все это в моих глазах, конечно, невольно говорило в пользу Азанчевского, и я не могла отказать в его просьбе позволить ему писать мне в Петербург, а потом и в Смоленск.

Началась усердная переписка с его стороны повествовательного характера, но однажды не утерпел мой юноша и пишет, что любит меня. Я поспешила ответить, что если ему мало прежних намеков, то прошу его прекратить переписку и не искать больше случая увидеть меня, так как я люблю другого, и взаимность никогда невозможна. Но "тень" моя не угомилась, она молила разрешить безмолвно любить и ставила сроком пять лет, в которые обещала исправиться от всех недостатков, а тогда, добавлял он: "Вспомните, что чистые сердцем даже Бога узрят!" На этом и покончилось наше первое знакомство с Азанчевским и он скрылся на пять лет.



Приехав в Питер, я отпраздновала свадьбу кузины (*вероятно Веры Платоновны Вакар, в замужестве Стырикович - 1859-193?, фото*), потом стала хлопотать о допущении меня к экзамену и благополучно выдержала его в первый раз в жизни, сперва лишь на право сельской учительницы в С-Петербургском испытательном комитете при шестой гимназии. Отыскала я и Сашеньку Горбунову, виделась у нее с Вл. Мих. Хороши были наши отношения с ним, говорилось так просто, дружески, но помнится, однажды, когда он хотел поцеловать мою руку, я выдернула ее... Прошлому, значит, аминь...

1878

В начале Марта 1878 года, я возвратилась домой в Смоленск. То-то радости было при встрече с Папою. Сколько рассказов накопилось, не ладили мы только в мнениях о князе. Но с 13 Марта Папа почувствовал себя нехорошо. Едва-едва уговорили мы его полечиться. Один только старичок, доктор Блинников угодил ему медицинской помощью, но, как нарочно, последнего в апреле вызвали в Москву по делам, и Папа перестал лечиться, все дожидая своего врача, а между тем слабел, и 9 апреля согласился пригласить доктора Дашкевича. Последний не нашел ничего опасного, но Папа сам делал намеки на близость своего конца, которых мы конечно не понимали. Так, например, он, не прекращая своей деятельности до последнего дня, убрал все свои бумаги и вещи в комнате, велел вымыть чернильницу, сказав, что больше она ему не понадобится. Рассчитываясь обыкновенно сам с врачом, приказал на другой день отдать Дашкевичу деньги, когда придет и т.п.

Но мне отрадно было беседовать с Папою о предстоящем лете. Я сообщила ему, что, так как он пускал меня и в столицу одну, то вероятно позволит поселиться одной с прислугой и племянником на нашей даче, где я, устроив все, буду ждать его в гости. Папа, узнав, что я не поеду далеко к брату и в Тростянку, пришел положительно в восторг, все улыбался при мысли об этом и немедленно приготовил мне рублями сто

рублей на мелкие расходы на даче. Только относительно В.М. Вороновского он не мог успокоиться, и, кажется, готов был взять с меня клятву, чтобы оградить от возможности сближения, но я успокоила его, сказав: "Не нападайте напрасно на этого человека, Папа, и знайте только то, что, если бы не он, у Вас теперь может быть не было бы дочери". Он задумался, но, не получив дальнейшего разъяснения, не задавал больше этот вопрос.

Хотелось очень Папе благословить меня с князем Вадбольским, я же обещала ему только не отталкивать этого человека и узнать его хорошенько, если он явится сам в Смоленск. Вечером 9-го Папа был еще на ногах, простясь со всеми по обыкновению, просил спать спокойно и не позволил никому ночевать в его комнате, где потушил даже огонь. Находясь рядом с комнатой больного, я долго прислушивалась, но Папа заставил меня потушить свою свечку и громко произнес свое последнее слово "благодарю". Непоколбим и тверд был этот человек в своей жизни, таким он остался и до последней минуты. Все спали, когда он переселился в вечность с улыбкою на устах.

Я осиротела и глубоко чувствовала потерю свою. Все суетились вокруг умершего, я же, притворяясь спящею, делила свое горе с подушкою. Мне казалось, что никто из окружающих не может понять мое горе, и я дала себе слово ни при ком не проронить ни одной слезинки. Траур, суета, толкотня любопытных, - все раздражало меня внутренне, и каждой барыне, говорившей светскую фразу участия, мне хотелось ответить насмешкою, или обличительною дерзостью, что я и сделала при встрече с М. Бирюковой.

Отца похоронили на третий день (по желанию Матап), несмотря на его завет не хоронить целую неделю. Была страстная, я говела и нашла великое облегчение в своем горе, получив неожиданную возможность принять участие в горе другой личности, а именно в судьбе дочери нашего священника Рае Алмазовой. Драму этой девушки я описывала однажды в письме, поэтому не стану повторять ее, а просто, если найду, то приложу это письмо для уяснения моих отношений с несчастной. Несчастье ее заключалось в том, что, посвятив все силы для окончания гимназического курса из первых, она не была понята родными и, получив по их воле очень дурное место, где ее нравственно оскорбили, 18-ти лет сошла с ума. Отдавшись всей душой наблюдению за больной девушкою и стараясь помочь ей, я невольно чувствовала какое-то успокоение и довольство, что я так стойко и, по-видимому, легко переношу собственное горе. Это делало меня положительно счастливою, я была даже весела к немалому удивлению окружающих. Больше всего их смущало то, что несмотря на разные приметы, я осмелилась трогать и разбирать разные вещи и письма дорогого Папы до шести недель.

Наступила ночь на великую субботу, и я, вдохновленная своим нравственным настроением, отправилась в первый раз в жизни к заутрене в два часа ночи. Что за прелестное было утро, когда мы вышли с крестным ходом! Ранняя весна и проснувшиеся птички так чудно гармонировали с торжеством великих дней. Я возвратилась домой в замечательно хорошем настроении, но вдруг сильно ослабела и почувствовала впервые такой упадок сил и сердцебиение. Я лежала и едва шепотом могла произносить слова.. Вероятно, то были последствия пересиливания горя и удерживаемых слез. Однако, приняв нервных капель, я несколько окрепла и стала одеваться, чтобы ехать к исповеди и причастию. Все это было как-то необыкновенно торжественно - и белый новый наряд, и это светлое душевное настроение, и ласковое обращение Матап во время сборов к великому таинству, - все радовало меня, даже у крыльца стояла новая хорошенькая карета, которую Папа приобрел перед своей кончиною, так что, садясь в нее в первый раз, я невольно подумала: "точно под венец везут меня.., и хорошо было бы ехать под венец в таком чудном настроении как теперь!"

Вдруг, гляжу, мы останавливаемся у подъезда дома Вороновских, но дверь заперта, и пустынно выглядит помещение за отсутствием хозяев, которые уехали в Петербург лечить Михаила Ивановича электричеством. Остановились мы у их дома потому, что кучер вздумал тут осведомляться, по какой улице ехать к церкви. Повернули по Аврааменской, смотрю, у окна в доме Дундукова, где тогда впервые видела я из коляски Азанчевского, сидят две девушки и плетут прелестный венок из белых и розовых цветов. "Только этого и недостает к моему наряду", - дополнила я свою фантазию. В церкви мне было так хорошо, так легко было молиться, никогда больше не приобщалась я с таким религиозным вдохновением, как тогда. Дома, кроме обычных членов семьи нас уже дождал с поздравлением кузен Феликс. Пора мне упомянуть, что эта редкая личность становилась для меня с каждым днем все дороже и дороже. Я узнавала в Феликсе, приходившем к нам ежедневно, дивного человека, он был всегда такой ласковый, сердечный, предупредительный, а главное, поражал своим умением проникать в душу другого. В особенности, он принимал во мне горячее участие после кончины Папы. Он один, изучив меня самым тонким образом, мог отговорить меня от того или другого поступка, просто задевая мое самолюбие, так что иногда я исполняла его желания, совсем того не замечая. Малейшее дурное настроение мое моментально подмечалось Феликсом, но что всего удивительнее, так это его умение отгадывать причину вызвавшую такое. Иногда его проницательность даже сердила меня.

Феликс был католик, но несмотря на это, он отправился вместе с нами к заутрене на Светлое Христово Воскресенье. Мне было очень приятно. Так как отношения наши становились очень дружескими, я рассказывала ему многое из своего прошлого, делилась заботами о Рае Алмазовой и только умалчивала относительно своих чувств к В.М. Феликс принимал во всем горячее участие и потому не удивительно, что настоящее светлое настроение мое невольно заражало и его. В церкви мы оба были какие-то сияющие. Когда пошел крестный ход, то он, ведя меня под руку, сказал: "Вот Юля, мне следовало бы идти на запад, а я иду с тобою на восток". Странно, мне невольно захотелось молиться во время крестного хода о том, чтобы он принял православие и мог быть похоронен рядом со мною. Впоследствии я вспомнила эти слова, бывшие как бы предсказанием.

Суется всю страстную неделю, я не успела убрать к празднику свою комнату и, возвратясь от заутрени, решила заняться этим утром, когда встану. Между тем, мы стали разговляться. Феликс обижался, что я не похристосовалась с ним в церкви и поэтому я поцеловалась с ним дома, да заболталась, по обыкновению, и вдруг слышу затаенный разговор Агаши с кем-то в другой комнате, чуть ли не с Матап, что мне совсем неприлично так увлекаться Фелик. Мих. и все время только с ним и шушукаться. Такое неожиданное подозрение взорвало меня, грязный взгляд на самые чистые отношения до того возмутил меня, что вызвал накопившиеся слезы. Феликс, конечно, начал утешать меня и скоро успокоил.

На другое утро, когда я начала уборку своей комнаты, переставляя многое поставленное не по моему вкусу, а по желанию отца, я встретила положительно целую бурю от Матап, что "нарушать порядок, установленный отцом грешно так скоро, а подымать пыль и уборку в такой праздник чуть не святотатство", - но я ответила, - "что это мое дело, и грязь уж вовсе не прилична празднику". Таким образом, конечно, раздула недовольство. За обедом Матап ни с того, ни с сего вздумала останавливать меня, "чтоб я поменьше болтала" и т.п. Одним словом, вечером Алеша вдруг явился ко мне со стаканом рвотного, уверяя, что я нездорова и должна выпить. Эта выходка взорвала меня до чертиков, и если б не Феликс, я не знаю, чем бы это кончилось.

Но и Феликс смолк, когда я, уходя с ним в темную гостиную от преследования, закричала на родного брата: "Прочь! Не подходи ко мне с подобными утешениями (и действительно в эту минуту я не могла переносить его присутствия). Ты обезьянничаете и несете рвотное подобно покойному отцу, но, во-первых, это не

всегда кстати, во-вторых, среди поступков отца, как бы он ни был умен, надо уметь различать те, которые полезны к применению, и те, которые могли быть и ошибочны", и я продолжала отстранять Алешу, подхлывшего ко мне со стаканом... "Не беспокойся обо мне, у меня есть действительно брат, который, как истинный друг, понимает меня (я взяла Феликса за руку), а ты иди лучше к своим детям и учись быть им отцом. Это твой священный долг, одними благословениями ты не сохранишь их... Гляди - старшему сынку твоему едва 7 лет, а он уже свыкается с кличками весьма не привлекательными, которые адресуются тебе при нем, так, например, недавно, когда ты его наказал за дело, я слыхала от Агаши подобное утешение: "не плачь голубчик, я не дам тебя этому черту в обиду, он сгубил Петю, сгубит и тебя". И это говорится про отца ("Боже"), да я бы шею свернула этой ведьме, если б она посмела сказать так моему ребенку, а ты, ты видишь это воспитание и робко молчишь... Покорный, мол, сын". И долго бы длилась эта желчная правдивая речь, но Феликс уговорил Алешу уйти, а потом взял мою руку и крепко поцеловал... Я ответила совершенно неожиданно для него тем же, в силу убеждения - давать целовать руку только тому, кому сама могу поцеловать, т.е. кого уважаю.

Мы сидели молча, но я чувствовала, что эта душа волнуется вместе со мною и хорошо понимает меня. Наконец, я объявила Феликсу, что мне не под силу эта сфера, и что я готова убежать сейчас же, хоть к знакомым, но родной друг успокоил меня, уговорил лечь спать и сам остался у нас ночевать. На другой день я была удивлена неожиданным приходом Соф. Пав. Шевандиной. Надо сказать, что в ее жизни предстояла большая перемена. Она была невестою. Во время моего пребывания в Петербурге она много выезжала, увлеклась каким-то артиллеристом **Вороновым** и дала ему слово. Покойный отец мой очень симпатизировал Соф. Пав. и потому вместе со мною немало опасался за поспешное решение Соф. Пав. Но, будучи болен, сам не мог высказать ей свой взгляд, а Соф. Пав., став невестою, ни у кого не бывала, поэтому Папа просил меня побывать у нее, поглядеть на жениха и поделиться потом своим мнением об этом воине, вскружившем Соф. Пав. голову. Просидев у Соф. Пав. вечерок, я пришла к убеждению, что ее опутывают недобрыми сетями и заметила это из разговора с ее женихом о новой драме Островского "Последняя жертва". Я была поражена его горячею защитою в пользу героя этой пьесы, первейшего подлеца, надувающего свою невесту! Отец после моего рассказа об этом вызвал С. Пав. к себе и за несколько дней до смерти своей уговаривал ее именем ее покойного отца отложить свадьбу и разузнать жениха хорошенько.

Не знаю, насколько повлияло на нее это увещевание умирающего, но теперь она пришла ко мне, по обыкновению веселая, говорливая и, просидев часок-другой, вдруг объявила: "А знаете ли Ю.П., зачем я пришла к Вам теперь? Убедиться, здоровы ли Вы, потому что вчера от Вас пришла Надежда Сер. (одна старушка), не заставшая Вас дома и объявила, что Вы, по словам Агаши, сошли с ума. Но я решила пойти к Вам сама и убедиться, потому что сплетням не верю". Такое отношение Соф. Пав. к весьма щекотливому для меня слуху очаровало меня. За одно это я стала уважать ее, дружески проговорила с нею весь вечер о себе, но, между прочим, сказала такую фразу: "Да, если верить всем сплетням, то Вам давно пришлось бы бежать от своего жениха, а мне от самой себя". Соф. Пав. пристала с вопросами: "что говорят о ее женихе?", я отнекивалась, заявляя, что не придаю значения сплетням, а сама лично, весьма серьезно смотрю на такой важный шаг, как брак, и если она хочет знать мой взгляд вообще, то готова дать ей прочитать одно из писем к Анюте Вороновской с рассуждениями на эту тему.

С.П. попросила, но на другой день это письмо было отвезено мне женихом ее, который явился в первый раз, настоятельно требуя, чтобы я назвала ему лицо, оклеветавшее его, с намерением вызвать на дуэль, потому что Соф. Пав. готова отказать ему из-за этого. Я ответила на это, что если Соф. Пав. его любит, то нечего ему бояться, ничто и никто не может тогда поколебать его счастья и ушла. Возвратясь к

Соф. Пав., он сумел успокоить ее и настроить против меня. У нас пошла письменная перебранка, но это послужило к восстановлению моего реноме в своей семье, так как Матап читала весьма логично изложенные ответы мои Соф. Пав. и убедилась в невредимости моего рассудка.

С того дня все пошло своим чередом. Скоро из Питера приехал В.М., и был такой умница, что навестил меня в моем горе, а в июне месяце из столицы возвратился и его отец Мих. Иван. О чудо, я увидела Мих. Иван., ходящего с палкою и поддержкою, по-прежнему шутившего с молодежью. Вот уже 6 лет с тех пор прошло, а Михаил Иванович все еще жив, и я невольно вспоминаю милость Божью и уверовала в молитву Сергия Преподобного.

С наступлением лета я стала собираться на дачу, как обещала отцу. Со мною ехали две юные кузины, дочери дяди Александра Алексеевича, умершего в Смоленске. Нашим сборам помогал Феликс и, помнится, однажды вечером поразил меня сорвавшеюся у него с языка фразою: "Юля, а что делать, если заговорит иное чувство, чем чувство брата..." "Этого не может быть", - удивленно ответила я, а Феликс спохватился и, уверяя что он пошутил, завел речь на другую тему. Однако, скоро я не замедлила поделиться с ним своей сокровенной тайною, т.е. своим недавним прошлым по отношению к Вл. Мих.

Мы переехали на дачу, где Феликс усердно посещал нас каждую субботу, оставаясь на воскресенье, а в Тростянке, говорят, не верили, что я не приеду, даже держали пари. Свадьба Шевандиной состоялась, музыка три дня гремела в деревне, но теперь С.П. давно уже разошлась с мужем, а Анюта вышла замуж 3 года тому назад и, говорят, счастлива. Время на даче мы проводили очень скромно. Старшая кузина моя Катя, была премилая девушка, сердечная такая и совсем наивная, как дитя. Меньшая, несмотря на свои 14 лет, походила по своему развитию и знаниям на 7-ми летнюю. Мать совсем не заботилась об этом, и я старалась по возможности заниматься с этой кузиной.

За все лето я получила из Тростянки два письма от В.М. В первом он писал всего несколько слов, прося уничтожить все его письма, и обещал написать еще, не ранее как получит уведомление об исполнении этого желания. Досадно мне было видеть в мужчине какое-то опасение за высказанные на бумаге мысли, и больно было расстаться с этим дорогим воспоминанием прошлого. Я решила ночью, перечитав весь дорогой пакет, схитрить немножко, переписав из его содержания все серьезные мысли, рассуждения и советы, переделав их в третьем лице, а подлинник сожгла. Следовательно - и волки сыты, и овцы целы. Но в награду за послушанье я получила письмо ничуть не длиннее первого, в котором меня приглашали в Тростянку. Я, конечно, не поехала. Прилагаю остатки этой переписки.

Копия разумной стороны писем

В окружающей обстановке нет ничего нового: все старое, знакомое, порядком истрепанное. Стоит только погрузиться целиком в эту ветошь, на ней сосредоточиться, ею жить, и тогда вдруг очутишься в заколдованном кругу, который все более и более будет суживаться, пока не притупит тебя, из которого нет выхода на свежий воздух, а только есть одна торная тропинка к апатии и тоске. Но человек только в исключительных обстоятельствах втягивается без борьбы в глупую окружающую обстановку, попадает в заколдованный круг. Чем больше у него энергии и силы, тем он упорнее действует в интересах своей личности. Если человек уважает себя, знает себе цену, то он дешево не отдастся в лапки пошлой жизни. С здоровой мыслью и с трезвой надеждой можно вести борьбу и выдерживать атаки невзрачной обстановки.

Моя жизнь со всеми школьными атрибутами именно сделалась бы для меня таким заколдованным кругом, если бы я по несчастью остановился на ней, но я смотрю на нее, как на переходную форму, как на грязное и необходимое преддверие

более разумной и свободной жизни. Та мысль, что до настоящих-то дверей нужно идти последний ход, имеет много живительного свойства и при всех размышлениях проталкивается на видное место. А осуществится эта мысль, и я знаю, она не особенно обрадует меня, потому что радует только или счастливая случайность, или достигнутая, давно желанная и глубоко любимая цель, за которой имеешь право отдохнуть и порадоваться.

Для меня же окончание курса не будет ни счастливой случайностью, ни дорогой целью, а только освобождением от пут, которыми сдавили на известное время. Стряхнешь с себя эти путы, потянешься, расправишь члены, да и погрузишься в тревожное раздумье: как плыть по волнам условно свободной и относительно разумной жизни. И это раздумье должно быть тем тяжелее и продолжительнее, что для решения сомнительного вопроса человек имеет мало положительных данных и напротив - много загадочных, условных. Оно и понятно, в нужных случаях трезвая умеренность редко применяется к делу. Человек или ничего не намеревается сделать активно, или намеревается сделать больше, чем способен. А это болезненное отношение к своей особе служит источником опасного заблуждения. Конечно, у кого громадные замыслы соединены с громадными силами, тому нечего робеть. Но это исключения, и об них или мало говорят, или не говорят ничего.

Теперь мы пришли к очень любопытному вопросу, который создан всем строем нашей жизни вообще и нашего воспитания в частности: почему мы не нормально, т.е. болезненно относимся к своим силам. Конечно, потому, что нам не дается возможности узнать вполне своих сил личных, которые проявляются только в деятельности, а деятельность между тем отмежевывается очень узкая. Таким образом, вдали от полезных жизненных впечатлений, под сенью доброжелательных попечителей мы себе живем тихую растительную жизнью, а окружающая обстановка между тем кладет на нас свои наслоения, которые и воспринимаются нашею сонливою жизнью в виде легких, но прочных впечатлений. Выйдешь из под свода этого опекающего приюта и не знаешь, чего больше в тебе - застоя и апатии или деятельной любви к людям и делу. А ведь решение этого вопроса должно быть исходной точкою нашей деятельности. Вот тут-то и начинаются сомнения и недоумения, начинаются размышления через пень, да колоду. Однако, будет сетовать на несовершенство нашей жизни.

Новая жизнь, новые лица заставляют человека вдумываться в новую обстановку и нужно занять в ней определенное место. Вглядываясь в окружающее, часто замечается, что разумность представляет только частный характер, а в общем много всякой дряни, вообще получается взгляд, что действительная, практическая сила личности главным образом не в идеях, а в чувствах, только сильное чувство, страстная привязанность к делу создает мощного деятеля; идеи же, которые не вызываются чувством, а принимаются человеком, как современные воззрения, свойственные передовым людям, никогда не могут дать человеку сил, настойчиво взяться за живое дело. Относительно взаимной эксплуатации всех животных, правилом которой в обществе считают, что надо быть молотом или наковальнею, можно сказать, что такой взгляд образовался не в силу необходимости, а в силу глупости и непонимания своих интересов, смешно говорить о вечности такого непонимания, такое заблуждение уцелеть между людьми не может, время освободит от него, ведь и теперь уже выработалось убеждение, что частные интересы не должны идти в разрез с общими при измененном общественном строе, лишь бы только не было помехи в разных учреждениях. Развитые люди должны всегда и все проверять критической мыслью, и чем глубже эта критика, тем больше права имеет человек называться развитым.

Взгляд на свободную волю человека: человек со своими взглядами, со своим характером является продуктом длинного ряда впечатлений, проследить которые мы на практике не имеем возможности, хотя в теории принять это имеем полное право; сам же человек считает себя свободным, он думает, что может произвольно поступить

так или иначе и считает себя ответственным за свои поступки, значит человек целиком подчинен окружающему миру, а сам себя между прочим считает свободным, эти два факта и берутся в расчет: на основании первого из них утверждают, что нет свободной воли у человека в том смысле, что он произвольно может быть или хорошей или дурной личностью, может стать или честным деятелем или преступником, на основании второго полагают, что человек, считая себя свободным в выборе того или другого образа действия, является ответственным за свои поступки, сам налагает на себя нравственный долг, и это имеет очень важное значение.

Скверно, обидно, когда с олухами считают возможным о чем-нибудь говорить. Можно краснеть, рассуждая с такими субъектами о том, чего свиньи вообще не понимают, имея очень много данных, надо смотреть на окружающую обстановку и людей сверху вниз, зная, что кругом царит полнейшее бездумье, неисходная пошлость и рутина, осушать болото единичными силами - дело неисполнимое, главная же задача - самому в нем не погрязнуть. Спорить с глупцами хуже, чем стучать об стену лбом. Ведь стараться сделать участниками наших лучших идей тех людей, которых мы уважать не можем, предприятие уж очень наивное, хотя конечно избежать такой наивности очень нелегко, нужна сноровка сдерживаться от порыва делиться лучшими идеями своими с людьми, пустота которых досконально известна. Если каждый самостоятельный шаг стоит таких усилий, что приходится употреблять всю энергию своих лучших качеств, чтобы не поддаться окружающей пошлости, то вся задача в том, чтобы беречь свои лучшие верования не втянуться в апатию, в праздность, не вступить в такие сделки, против которых протестует чувство и сознание, ибо знаем, что не выполнивши этой задачи, теряем свое человеческое достоинство и опускаемся в грязную яму, называемую цивилизованным обществом, эта яма так близка, что можно обонять вонь, видеть ее мерзости; не вытаскивать же из нее тех, кто окончательно погряз, кто кровно связан с ней, когда самому нужно защищаться от попыток затащить в эту яму! Сохранить себя чистой и восприимчивой среди притупляющей обстановки - дело настолько не легкое, что будет с тебя и его.

До тех пор человек не может сказать, что ему совсем гадко, что он окончательно несчастлив, пока видится свет впереди, и ему хочется пробираться к нему. Надо очистить свое чувство, к которому прилипли грязные наросты нашего милого общества, надо просветить свои мысли, которые потускнели от разных глупых предрассудков и пошлой рутины. Чувство заставляет человека бороться, а идеи дают уменье вести эту борьбу. Если бывает хандра, то приходится бороться с нею за существование, финал ведь один - или она заест, или растопчешь ногами ее проклятую. (И я верю, что ты растопчешь ее проклятую, во что бы то ни стало).

Надо топить разные невзгоды в живительном труде. Хорошо, пока самолюбие не позволяет примириться с бессознательным существованием и махнуть рукой на собственное развитие. Скверно, если повторяется дурное настроение от окружающего, это доказывает, что не совсем окрепло чувство должного презрения к глупой болтовне и сплетням, а воспитать это чувство обязательно, нужно побольше веры в свои силы, как бы они ни были мало устойчивы, как бы ни была скромна их будущность, с какой стати подозревать возможность их разбиться о такие ничтожные невзгоды, как болтовня баранообразных господ, нельзя, просто обидно допустить возможность погибнуть от комариного жала. Страх о такой гибели положительно суеверен, против него должен противостоять рассудок всеми своими силами, как против чувства совершенно недостойного развитого человека. В таком случае - поменьше внимания к близко окружающему, подальше от глупых чужих поступков, поближе к своим дельным мыслям.

При честных отношениях необходима полнейшая искренность, в противном случае вкрадывается фальшь и неизбежное надувательство друг друга, а это канун разлада. Надо постоянно работать над собою, чтоб разумно устроить свою жизнь, надо помнить, что цель развития - не какой-нибудь человек, а самая жизнь, с нее мы хотим

и вправе взять, как можно больше, поэтому должно украсить свою сравнительно крошечную долю жизни всеми наслаждениями развития, стойкой честности, всеми прелестями мысли и чувства, до которых только можем дорасти, так завоевывается счастье, которое иногда можно видеть в самых бедствиях и страданиях. Нужно давать самый сильный и стойкий отпор внешним влияниям на наше нехорошее настроение духа, чтоб избавиться от бесплодных страданий, лучший таковой отпор (как известно) состоит в той энергии, к которой приучает человека постоянная работа мысли и постоянное отсутствие праздности. Люди мыслящие должны жить настоящим, к которому не следует стоять затылком.

Копия заветной переписки 1-го друга В.М. 26-го июня 1882 года (разумного содержания, а не романической стороны, вероятно лишь ее требовали сжечь).

Спасибо, что сделали шаг к выходу из невыносимо тяжелой натянутости отношений наших. Вы, конечно, не можете сомневаться, что я была бы счастлива водворить в них естественный и дружеский характер, но насколько это возможно будет, не знаю, я не терплю деланных отношений, хорошо если дружба и вообще наши симпатии к людям являются сами собою, без форсировки.

Я хорошо понимала, что продолжительный период нашего разрыва прошел для Вас далеко не благополучно, слухи, которыми всегда земля полнится и личная чуткость подсказывали, что судьба часто гладила Вас против шерсти, грустно было сознавать это, но я не предполагала, что Вы доходили до такого страшного положения, когда весь мир становится для нас чужим, "жить" для других при таком обороте дела трудно, невозможно, а если так, то значит Вы лишены были единственного средства, смягчающего подобное положение. Я же, напротив, на нем только и выезжала все время, и верите ли, идя таким путем, несмотря на все невзгоды и тяжелую борьбу со многими преградами жизни, я не раз чувствовала себя счастливою и довольною.

Ваши отношения ко мне я считала преднамеренными. Помня правило, что к настоящему не следует стоять затылком, я сделала простой вывод: "не хочет, мол, способствовать воспоминанию прошлого". Что ж, такой поступок вполне честный, к сожалению, я в своих отношениях к людям не умею поступить так, и, хотя никого не морочу, но благодаря личным свойствам характера и опыта, не могу давать такой крутой и холодный отпор. Считаю долгом на откровенность ответить откровенностью: зная Вас, я не сомневаюсь, что прежде чем написать мне Вы строго обдумали такой шаг (не знаю вперед или назад), но сознавали ли Вы, что опускались в могилу в продолжении 5 лет? Я страшными усилиями хоронила свое прошлое, несмотря на Вашу отдаленность в этот период. Вы не раз, сами того не зная, играли важную роль в моей жизни.

В настоящее время я дошла уже до такого омертвения, что в присутствии Вашем, не проявляющем ничего жизненного, я испытываю чувство человека погребенного, уже не имеющего отрадных надежд, и как будто бы задыхающегося под тяжестью надгробного камня. Да, такое чувство я испытала в особенности в последний раз, так что умереть, в известном направлении, мне казалось легче, чем ожить. Осенью прошлого года - другое дело, я была до того воодушевлена у пристани своей деятельности, что никакое мертвящее чувство не в силах было повлиять на меня, неожиданная встреча вообще имела совершенно противоположное действие.

Что касается до восстановления дружеских отношений, то с моей стороны может господствовать полная откровенность к первому лучшему другу моему, а его фатальная черта характера, выражающаяся в непоколебимой скрытности снова будет тормозить взаимные отношения. Неужели же никогда, ни для кого Вы не изменитесь в этом отношении? Это доказывает только недостаток веры в людей, без которой на свете, право, скверно жить. Не понимаю я Вашего определения, когда называете себя человеком разорванным. Большое спасибо Вам за портрет, буду надеяться, что сами

привезете его мне, проводив мамашу в Смоленск, недели через полторы. С радостью говорю до свидания! Давно преданная Вам Юлия. Что касается до писем, то я хотела бы получать их, если дружеские отношения не восстановятся.

Копия письма 3-го февраля 1876 года

Дорогой друг мой! Не имея больше возможности словесно говорить с тобою, прибегаю к перу, желая высказать не только все то, что чувствую, но и то, что думаю. Оставаясь в уединении, я невольно вспоминаю чуть не каждое слово, сказанное тебе, ищу причину, заставившую сорваться его, одним словом, отдаю себе полный отчет в своих, даже самых незначительных поступках.. Отраднo вспоминать мне, как еще очень недавно я считала малейшее сомнение в тебе оскорблением того чувства, которое к тебе питаю, но оно проявилось во мне как раз в ту минуту, когда я вовсе не ожидала, а именно, после произнесенного тобою "люблю". "Странно, очень странно", - говорила я себе, что это слово, цену и смысл которого я очень хорошо сознаю, произвело на меня такое впечатление. Причиной его я после долгих рассуждений нашла следующее: я услышала это слово, находясь во-первых, под впечатлениям только что читанной статьи Г. Михайловского, где он для определения самого высокого чувства высказывает только самые низкие причины, порождающие его. Не стану возражать, что выводы его отчасти справедливы, но в то же время уверена, что чувство, основанное, как он говорит, на одном только стремлении двух половинок, не может быть прочно и вовсе недостойно названия того высокого и могучего чувства, которое так хорошо определил Кирсанов, говоря, что под влиянием его можно стать гением.

Во-вторых, проведя полтора месяца пустой жизни, при которой, увлекаясь желанием как можно чаще видеть тебя, и при том не болтать, а говорить с тобою, я вместо того чтобы занять свой мозг чем-нибудь серьезным невольно направляла его к одной мысли: как бы устроить свидание. Если приходило в голову, что это не нужно, то сознание скорой разлуки брало верх. И вдруг, в ту минуту, когда я считала себя такой пустою, я слышу что меня любят.. "За что?", - спросила я себя. Ведь разумно полюбить меня не за что. Мне казалось, что ты мало знал меня такую, какую я знала себя, и как ни тяжело было мне, но я сказала про хандру, которая иногда одолевает меня при неблагоприятной обстановке. Не высказывая этого, я конечно имела бы больше шансов на твое расположение, как личность сильная, но тогда я обманывала бы тебя. Теперь же я довольна, что ничего не скрыла от тебя, но вместе с тем, больно сознать, "как же Володя будет любить-то меня такую?" Сомнение растет, но я хочу искоренить его и всеми силами буду стараться стать достойной того слова, которое ты так рано произнес. Твоя всей душой.

Копия письма 18 октября 1877 года

Думы свои "незабвенная" (многодневная)
На родимую грудь изолью...

Вот слова, которыми впервые приветствовал меня, мой первый, единственный друг, предлагая быть самым искренним утешителем в тяжелые минуты жизни. Он знает, как я была счастлива. Узнав это, знает, что с той минуты я откровенно делилась с ним каждою серьезною мыслью, не скрывала ни малейшего поступка, поэтому не может сомневаться, что и теперь я снова обращаюсь к нему с тем же доверием, так как уверена, что для меня он останется всегда одинаково дорогим и родимым... Спасибо, сердечное спасибо за исповедь, которую по желанию считаю долгом уничтожить, но со своей стороны постараюсь изложить не менее откровенную, и предупреждаю, что если бы ее представили на суд всего света, то и тогда я не устыдилась бы ее, а

следовательно, сохранение ее не только не возбудит страха, а напротив доставит удовольствие.

Вам хорошо известно, как столкнулись мы на жизненном пути, первое трехдневное свидание наше, я помню так живо, как вчерашний день. Мне кажется, я в состоянии была бы воскресить каждое слово, слышанное мною в продолжении 4-х лет из дорогих уст друга, так как в течение 3-х лет он составлял все для меня, главную поддержку. Воспоминания о трехдневном пребывании с ним оживляли меня и радовали 10 месяцев, по прошествии которых, мы снова встретились с ним как нельзя лучше в Т. (без родных дам), и вовсе не натянуто проговорили весь вечер и другой день. Затем потянулись не менее отрадныи деньки, благополучно прерываемые разлукою, которую я посвящала на строгий анализ всего прожитого.

Наконец, прошедшая зима и, в особенности, лето во многом открыли мне глаза, хотя и прежде я думала: "отчего же я готова была исполнить малейшую его просьбу, если только она не противоречила честности и благоразумию (за что и упрекаю себя, это единственное тяжелое воспоминание из наших отношений), а он не хочет даже бросить привычку курить, которая ему вредна. Хотя и говорят "привычка - вторая натура", но я испытала несправедливость этой пословицы, в особенности, если нужно ею пренебречь для любимого человека. Кроме того, не стоит вычислять всех мелких наблюдений, которые вызвали ненавистное сомнение, в котором я созналась в ту самую минуту, когда услышала "люблю".

Надеюсь, разговор по этому поводу не забыт, до сих пор не могу понять отчего в ту минуту я не могла ответить тем же словом... Уж не было ли это слепое предчувствие, что оно вылетит в "трубу". Затем последовало мое письменное объяснение, конец которого я никогда не забуду, и наконец разлука при моем скверном настроении в прошлую зиму. Оно вызывалось иной причиною, а именно недовольством на себя за то, что не ответила Вам тем же словом. Являлось опасение - не подействовало ли на Вас это молчание так, как могло бы повлиять на меня. Подтверждением этому служил Ваш отъезд на юг. Я доходила до отчаяния. Наконец, все миновало, и мы дружелюбно встретились с Вами 23-го мая. Тогда Вы в беседе невольнo натолкнули меня на мысль о возможности осуществления заветного плана моего в более скором времени, чем предполагала, и в самом деле, зачем же ставит жизнь отца преградою.

Теперь эта мысль блестящею звездою горит на моем горизонте, в ней вся цель моя, которая таинственно растет. Я положу на нее все лучшие силы мои до последней минуты жизни. Со вчерашнего дня я также твердо уверилась в этом, как и в том, что неизъяснимо глубоко любила тебя, но к сожалению, по неопытности и слабости не сумела упрочить взаимности, зато сумею до последней минуты своей жизненной "дороги" остаться достойной Вашего уважения. Я никогда не испытала к Вам страсти, вовсе не жалею об этом, и зато с гордостью скажу, что не была для Вас станциею и с грустью, как женщина, замечу, что мне невыразимо жаль тех, кто станет ими. Неужели же столь дельная голова, как Ваша, высказавшая столь много светлых мыслей и сострадание к нашему полу, не может заглушить в себе столь профанированное чувство любви, или по крайней мере не хочет обратить ее на каких-нибудь гризеток и марионеток, а околдовывает неопытных, честных и достойных девушек, которые, полагая всю жизнь и душу для святого чувства, могут погибнуть от разочарования.

Так, например, несмотря на Ваш отрицательный ответ на мой вопрос, мне все-таки кажется, что Вы серьезно увлеклись С.П. Это-то, должно быть, и есть новая страсть, вытеснившая другую. Но Вы не сознались, боясь встревожить меня, услышав какую ночь я провела после переворота в Вас. Да, действительно, то была ночь ужасного сознания одиночества, но зато она облегчила сегодняшнюю и была единственная. Что же касается до остального времени, то я удивляюсь себе. Право, я никак не ожидала видеть себя такою. Да, теперь я с прочувствованным убеждением могу сказать, что ревность есть чувство обратно пропорциональное любви. Однако, жаль, если С.П.

станет станцией для Вас. Кроме того, помните, что по словам Янского ей угрожает болезнь спинного мозга и малейшее потрясение ей вредно.

Что касается до ее чувства к Вам, то ему я поставила серьезное испытание, желая убедиться, достойна ли моя наследница. Однако, будет про это. Скажу только, что Вы не можете упрекнуть меня за нескромность. Я блаженствовала, прочитав: "Посвящу моему другу", "Все тебе от всего твоего", и не набиваясь, ждала осуществления этих слов. Была довольна даже признанием, что обещал написать С.П. Остальное - для меня потемки. Вчера узнала, что "не способен трепетать постоянно чувством любви-страсти", "не постоянен в ней", и "имеете испорченное сердце" (чем и когда?), что вызваны на ускорение исповеди обстоятельствами, требующими настойчивого решения. Какими?

Все это прочла еще у Вас в доме, в 2 часа легла спать, в 4 меня точно кто разом разбудил. Последняя четверть луны давно освещала мою комнату, благовест во всех церквях к заутрени приковал мое внимание, я провожала Вас, мысленно шепча: "прости...", но не навсегда. Теперь, убедясь, что прочная испытанная дружба должна быть взаимная, предлагаю ее в полном смысле этого слова. Повторяю то же, что и некогда Вы, что теперь в Ваших письмах может господствовать полнейшая откровенность, что на них никто не дохнет, что я сумею понять Вас и считаю себя настолько развитой. Надеюсь, что не получу отказа, если Вы желаете иметь верного друга. В противном случае, воспользуюсь вашим адресом лишь в крайнем случае. Теперь, если не затрудняю, прошу ответить на мое имя через А.П. к 29 октября, так как 29-го уеду на неделю к Потемкиным. Всей искренней душой преданная Вам, Юлия.

1878 года, 14 Августа.

Прежде всего объясню причину моего долгого молчания. Эта причина - отчасти в свойственной моему характеру неразвитости в отношениях к людям вообще, которую ты не раз замечала, а отчасти, скажу откровенно, и в некотором недовольстве, которое непосредственно вызвало мою просьбу об уничтожении моих писем, и о котором я нахожу более удобным говорить при личном свидании. Я думал увидаться летом в деревне, потому что слышал, что вы с А.В. приедете в Бественку. Мне очень приятно было узнать, что ты нашла себе дело, которое заняло и время и мысли. Нынешнее лето мне не совсем задалось, хотя здоровьем я нынче поправился больше, чем во все, пожалуй, прошлые годы. В Питер думаю ехать в конце августа, а числа 18-го думаю съездить в Смоленск. Мать часто вспоминает о тебе, и просила пригласить тебя приехать в Тростянку. Если можно, ТО ХОРОШО бы было вам с А.В. воспользоваться этим приглашением. Вообще, в настоящее время мать вспоминает тебя с большим сочувствием, чему впрочем, нельзя удивляться. Как поживает А.В.? Думает ли вернуться в Питер?

Твой В.М.

Если вздумаешь приехать, напиши скорее, как устроить, чтоб выслать лошадей.

Наши отношения до того засорились, что становится необходимым выяснить их и выйти из тяжелой напряженности. Я понимаю, что я много виноват во всем этом, и потому, тем более считаю своею обязанностью поговорить с Вами откровенно. В нашем знакомстве существует большой пробел, без знания которого Вы не можете понять меня. Этот-то пробел я хочу, насколько возможно, заполнить. Говорить о нем подробно и неудобно в письме и, пока еще больно, буду говорить в общих чертах. Вы знаете хорошо, что я человек чрезвычайно нервный, порывистый, часто большой чудака, и нередко у меня ум бывает не в ладу с сердцем. Как ни неприятно, но в этом нужно сознаться. Таким же людям, если они не фавориты судьбы, жизнь дает роковые уроки, от которых переворачивает всего человека, вот эта-то дубинка жизни и гуляла по мне в то время, когда я стечением обстоятельств был загнан исключительно в себя и так страдал самосозерцанием. Весь мир был для меня чужой, и я всем существом

своим ощущал пропасть между своим и чуждым мне остальным миром с другими людьми.

Вообще, я человек скрытный, но в личных неудачах и страданиях я органически не могу быть откровенным, нередко хочу, но не могу. Это какая-то фатальная черта моего характера. И вот, в этот тяжелый, болезненный период, когда я искал одиночества и сносил только людей, которые меня не знают и мною не интересуются, я запустил свои отношения со многими людьми, которыми имею основание дорожить. В этом-то не нормальном отношении к людям и состоит моя вина вообще, а по отношению к Вам - моя особенная вина. Я откровенно и искренно сознаюсь в ней перед Вами, потому что уважаю Вас и верю, что мое психическое самодурство причинило Вам немало тревожных минут.

Кстати, скажу Вам теперь, что я в общем человек разорванный, а потому строгой последовательности и ясности в моей душевной жизни нельзя отыскивать. Мою мятежную и причудливую душу мне удалось дисциплинировать только в сфере общественной жизни, где я надеюсь остаться последовательным и ясным. В сфере же частных, личных отношений я, должно быть, так и останусь чудачком, хотя далеко не таким порывистым и сумасбродным, как прежде, потому что холод жизни поубавил много-таки моего пыла. Но об этом подробнее после. Теперь скажу про свои отношения к Вам.

Вы знаете лучше других, что подхваливать людей не в моей привычке, и в хитрости меня, конечно, не заподозрите. Поэтому я скажу Вам, что Вы оправдали слова своего письма. Вы действительно имеете право на уважение и право, взятое Вами с бою. Скажу откровенно, что я мало знаю женщин, которые личными трудами и энергией обставили бы себя так дельно, как это сделали Вы. Теперь, когда я начал уже входить в норму и могу жить не в одиночку, а по людски, я с удовольствием смотрю на Вашу деятельность и ценю Ваши заслуги. В заключение скажу Вам, что мне хотелось бы, чтобы отношения наши приняли естественный, дружеский характер. Если же Вы найдете, что между нами лежит крупное, неустранимое недоразумение, и если Вы найдете неудобным почему бы то ни было выйти из натянутых отношений, то я подчиняюсь Вам вполне и только попрошу, насколько возможно, примириться в душе со мною. Я прочел все письма. Вы хотите их взять назад? Карточку, о которой Вы просили постараюсь доставить Вам. До свидания. Очень поздно.

Ваш В. Получено 24-го июня 1882 года.

Осенью мы перебрались в Смоленск, где я и прожила до октября в какой-то нерешительности, но голова просила дела, а план ехать в столицу для довершения своего образования зрел с каждым днем. Предчувствовала я семейную бурю, если выполню это самостоятельное стремление, и опасалась северного климата для своего здоровья, но открыв с молитвою Евангелие, поражена была следующими строками: "Иди, вера твоя спасла тебя, Я пошлю Ангела своего уготовить путь перед тобою". Все сомнения как рукой сняло, я смело заявила Маман, что уезжаю в Питер до лета. Противоречить мне теперь было мудрено, так как я была самостоятельна и материально обеспечена. Отец скопил лишениями и трудами всей своей жизни капиталец и оставил каждому из нас по 6000. Правда, эти деньги хранились под ведением душеприказчика, старшего брата Алексея, а я и Поль пользовались только 25 р.% ежемесячно. Кроме того, Алеше отец завещал дачу, а мне дом в Офицерской слободе, с которого я первый год не имела дохода, так как его занимали родные.

Мнения о сумасбродстве моем, полном нигилистических стремлений, посыпались со всех сторон. Не обращая на них никакого внимания, я укатила в Питер. Родные, в особенности Тетя-Мама были мне очень рады, и я поселилась у дяди Плат. Алек. Поступить в какое бы то ни было учебное заведение было мудрено, так как приемные экзамены были окончены везде, да я и не готовилась к ним, полагая, что, имея свидетельство на сельскую учительницу, обладаю достаточными правами для

применения скромной деятельности. Не доставало только знакомства с методами и практической деятельностью. Этому-то я и хотела посвятить зиму. Отправилась в городскую Управу за разрешением посещать все школы и училища во время занятий. Получив таковое, стала каждое утро путешествовать то в то, то в другое училище; увидав, как искусно и разумно ведется в столице дело преподавания по новейшим способам, я поняла, что мои знания и умения равняются нулю, и необходимо мне самой поучиться. Но где? И вот я принялась приглядываться ко всем высшим учебным заведениям.

Девицы с медицинских курсов, с которыми мне пришлось познакомиться, оказывались действительно серьезно занятыми, хотя некоторые и отличались странностью нарядов, но эта деятельность не по мне. Среди педагогичек попадались симпатичные барышни, но все они сохраняли какой-то аристократический лоск "барышень" и учились точно из-за моды. Главное же - курс был слишком длинен (4-годовалый), для здоровья и по моим годам это много значило. Бестужевки окончательно возмутили меня: пришлось мне быть у одной из них в ту минуту, когда целая ватага ее товарок явилась домой обедать прямо с курсов. Меня поразил тот гам и говор с которым, они, точно фабричные, с улицы вошли в комнату. Мало того, я услышала среди этих девушек, слушательниц высших курсов, площадную брань, стремление дать на другой день публичную пощечину какой-то курсистке за то, что она осмелилась занять впереди не свое место.

Боже! И это ученые женщины, невольно подумала я; да это те же торговки, те же бабы, полные сплетен и дрызг, только лоб у них морщится по современному, да эффектные фразы сыплются, когда нужно фарснуть. Впрочем, я знала, что личности преподающие на высших курсах - действительно люди науки, которая, наконец, широко раскрыта перед женщиною, и можно разумно пользоваться этим дорогим правом укрепить и развить свой ум. Жаль только, что немногие женщины сумеют действительно серьезно отдалиться этому делу, а меня снова пугал 4-х летний срок.

Наконец, внимание мое остановилось на С-Петербургской учительской школе, т.е. заведении, где готовят учительниц и учителей специально к их нелегкой деятельности. Состав преподавателей оказался там в то время идеальным, курс - всего двухгодичный и, кроме того, дается практическая подготовка в двух специально



устроенных школах. Инспектор заведения - умнейший человек, некто **Рашевский** (*Рашевский Иван Федорович - 1831-1897, фото*), преподающий и на педагогических курсах, девицы же, готовящиеся в учительницы, - почти все скромные, усердно занимающиеся. Итак, этот уголок пришелся мне по вкусу. Я поступила вольнослушательницею после Рождества, следила за лекциями и практическими занятиями усердно, полагая, что этого будет достаточно для того, чтобы самой наловчиться (впоследствии, возвратясь в Смоленск, убедилась, что виденное и слышанное было свежо только в то время, а потом испарялось и не давало никакой уверенности для самостоятельного обучения). Поэтому решено было готовиться летом к вступительному экзамену и слушать весь курс сполна.

Конечно, прежде чем придти к такому решению, я много думала, в особенности меня смущало колебание между двумя целями: кончить образование и посвятить себя воспитанию бедных детей, или немедленно посвятить себя больному брату и быть неотлучно при нем, пока путем постоянного угождения не восстановлю его здоровье. Выбор цели очень тревожил меня, и я даже советовалась с милейшей М. Матон, в которой видела будущего друга. Мы решили, что жертва собою брату может и не удастся, а время уйдет, надо лучше сперва достигнуть первой цели.

Зима, которую я провела в Петербурге сполна, не была лишена свидания с другом моим. Он жил вместе со старшим военным братом (по отцу) на Васильевском

острове. Сядешь, бывало, на конку и мчишься на 17-ю линию, где так приятно, просто, дружески проведешь часок-другой. О прежних сентиментальных отношениях не было и помину. Однажды случилось мне даже обедать у моего друга в обществе нескольких умных людей. Помнится, шел спор о том, что крепкие напитки необходимы для возбуждения энергии в молодых людях.



Я доказывала нелепость такого мнения и не без удовольствия пользовалась поддержкою со стороны г. **Павленкова** (*Павленков Флорентий Федорович - 1839-1900 - книгоиздатель и просветитель, фото*), известного писателя нашего, и издателя сочинений **Писарева** (*Писарев Дмитрий Иванович - 1840-1868 - русский публицист, критик, революционный демократ, фото справа*).



Между тем, на горизонте моем выступала новая личность, вспоминать о которой мне неприятно. 26 января праздновались именины жены моего дяди, готовился обед и дожидали родных гостей. Придя с лекций довольно поздно, я отправилась за перегородку в спальню переодеться. Вдруг раздался еще запоздалый звонок, и со всех сторон послышались радостные возгласы: "дядя Володя, дядя Володя!" Скоро дядя Володя был в спальне и даже чуть-чуть не влетел за перегородку, но я успела остановить его, и невольно мы познакомились и заговорили, не видя друг друга. "А!" - воскликнул дядя Володя - "Наконец-то я увижу знаменитую Юлечку! Уж я так много про нее слышал! Говорят, она очень хорошенькая, посмотрим!" Такой тон обозлил меня сразу, и я поспешила возразить, что, со своей стороны, тоже наслышалась про всеобщего дядюшку, и отнюдь не симпатизирую ему по этим слухам.



Дядя Володя (*Марков Владимир Петрович - 1837-1910 - действительный статский советник, землевладелец, общественный деятель, фото*) был не кто иной, как родной брат именинницы-тети. Я давно слыхала про него, как про человека чрезвычайно доброго, либерального, но крайне слабого характера и несчастливого в семейной жизни, влюбчивого и веселого среди общества. Не знаю, почему мне очень не хотелось выходить к нему. Тогда кузен мой Саша и другой его дядя - тоже **Марков** вздумали пошутить. Устроили мне торжественный выход: взяли под руки, освятили двумя канделябрами и таким образом повели кругом через все комнаты, так, что дядя Володя увидал меня при лучезарном освещении на другом конце всей анфилады помещения и не замедлил взять бинокль.

"Правда, правда - прехорошенькая", - заговорил он, вставая навстречу. Все шутили, смеялись и отправились обедать.

Дядя Володя не замедлил занять место возле меня и принялся усердно разглядывать глаза, рот, нос и все черты лица, определяя мой характер и приставая с комплиментами, так, что положительно обозлил меня. Я просто готова была на страшные дерзости, но обед, по счастью, кончился. Дядя Володя успел снова найти меня в будуаре у письменного стола и, взяв лист бумаги, быстро и искусно принялся чертить всевозможные типы лиц в карикатурном виде. Потом, увидя среди фотографических карточек лица нескольких писателей, в том числе и Писарева, вдруг стал очень грустен и точно преобразился. Он заговорил о своей юности, о минувшей молодости, когда сам учился с Писаревым и вращался в литературных кружках, стремился к поэзии, слыша пророчества хорошего будущего на этом пути.. "Но увы, где все эти мечты! - заключил он - они разлетелись, как дым".

Увидав перед собой человека в ином свете, я заговорила с ним иным языком, мне стало бесконечно жаль его, я стала расспрашивать о прошлом, убеждала не падать духом и приняться за литературный труд... Но Владимир Петрович положительно отрицал возможность этого, говоря, что похоронил свою музу вместе со своим счастьем, и невольно стал делиться своим семейным горем... Тут нас прервал мой дядя Платон Ал., позвав Владимира Петровича играть в карты. Крепко пожав мою руку, он неохотно отправился к зеленому полю, заронив в мою пылкую воображением голову много горького и вызвав сразу горячее участие к его судьбе.

Владимир Петрович Марков - был человек лет 43-х, среднего роста, плотный, чрезвычайно красивый brunet, с длинной, чуть не по пояс роскошной бородою. Лет 28-ми он влюбился в юную 15-летнюю девочку некто Дорошенко и, видя ее в очень горькой обстановке дома, которая успела уже отправить на тот свет ее старшую сестру, поспешил жениться на этом неопытном ребенке, в котором души не чаял. Он увез ее в свое имение, где жил, состоя много лет мировым судьей - любимцем крестьян. Так прошло лет 5-6. У Владимира Петровича было уже трое детей, и он был счастлив. Увлекался ли он кем-нибудь еще или нет в эти счастливые годы, я не знаю, но жена его постепенно развивалась, сознала ничтожность своего образования и, сблизясь с племянником мужа - медиком-студентом, вздумала учиться и готовиться сперва к экзамену на домашнюю учительницу, который начально и держала одновременно со мною, а потом к поступлению на Бестужевские курсы.

Когда Владимир Петрович узнал, что жена разлюбила его и больше жить с ним не желает, то он, недолго думая, взвел курок, и только рука караулившего друга удержала его от этого поступка. Кончилось тем, что Владимир Петрович предложил жене исполнять все ее желания, отвести ее на курсы, приискать ей удобную квартиру, содержать ее, с тем только, чтоб она не кидала его совсем и хоть в глазах света не отталкивала бы его. Трое деток остались при отце в деревне. В таком положении я и застала Маркова.

Когда наступила масленица, то, пользуясь свободными от занятий днями, я поехала в имение Влад. Петров., где жила также замужняя кузина моя **Верочка Стырикович**, недавно вышедшая за земского врача. Деревня, в которую я попала, представляла целую колонию. На горе помещался большой дом, где жил сам Влад. Петр. с детьми и старушкой-бабушкой их. Внизу было еще два дома: в одном из них жил холостой брат Влад. Петр. и его два товарища (все - большие любители музыки, один из них прелестно играл соло на валторне), в другом - моя кузина с мужем, некто Стырикович (3-я дочь дяди Пл. Ал.). Недалеко было две школы. Влад. Петр. не замедлил снабдить меня массою руководств для преподавания, свозил в одну из лучших школ, чтобы послушать занятия образцового учителя, в другой - выпросил позволение, чтобы разрешили мне самой позаниматься с детьми для практики.

Малютки самого Влад. Петр. были очень симпатичны. Меньшой было всего 5 лет. В свободные часы Вл. Петр. зазывал меня в свой уютный кабинет и там стал еще подробнее поверять мне свое прошлое, стал читать целые тома написанных им в разное время стихов, и часто в его голосе слышались слезы, показал стихи, которые он писал Некрасову перед его смертью и письмо последнего, в котором он убеждал В.П. писать стихи и не убивать данный ему талант. Понятно, что каждая из таких душевных бесед не проходила для меня даром, я увлекалась сочувствием к Вл. Петров., готова была бы, кажется, душу положить, чтоб возвратить счастье и силы таланта этому человеку.

Я умоляла его попробовать снова писать и не бояться печатать свои произведения, так как это может поддерживать энергию и, кроме того, даст ему вес в глазах жены.. Воображение уже рисовало мне возобновление его счастья, потому что горячее отношение общества к деятельности В.П. должно было, по моему мнению, возбудить симпатию его жены. В.П. точно отдыхал среди розовых картин, которые я ему рисовала и, слушая мой наивный горячий лепет, он прозвал меня: "Дитюю", потом

"внучкою", а себя дедушкою. Подарил мне свой портрет, на котором моментально написал экспромт, полный разочарования, но в заключение, выражал мысль: "что он пел лишь страстью увлеченный" или тогда, когда страдал. Когда я уехала в Питер, то не замедлила получить от "Дедушки" письмо. Он просил позволения называть меня "юным другом своим", писал сперва прозой, потом заговорил и стихами, поясняя, что я разбудила его музу. Я радовалась последнему, но отказалась от имени друга, выясняя всю важность этого слова и не признавая за собой права на таковое, однако, "Дедушка" настоял на своем. Скоро из-под его пера вылилась очень миленькая поэма "Сказка о рябинушке", а хорошеньким экспромтам в письмах и при свидании не было конца. Однако, один из них, набросанный карандашом, удивил и возмутил, меня.

"Дедушка" просил меня в нем подарить ему ключик от того ларчика, что в народе ретивым зовется. Я оттолкнула неуместность этой просьбы, но "Дедушка" не унимался, хотя постоянно твердил, что он уже совсем старик, и счастье ему на роду не написано. Конечно, он этим сильно подкупал меня в свою пользу, а, главное, кроме того, он обладал какой-то обаятельною нежностью. Разохаётся, бывало, придет такой грустный, начнет делиться дружески своими неудачами и невольно вызовет мое участие. Гладит, бывало, так нежно свою внучку по голове или по руке, а она утешает его своим лепетом, не воображая, что эти по-видимому невинные отношения совершенно незаметно для нее самой будили в ней женщину...

Опытен был "Дедушка" в завоеваниях, да мне-то это невдомек, только иногда его неприятно горящий взор, его полуоткрытые страстные губы, тихо шептавшие какие-нибудь нежные рифмы, и какая-то странная дрожь, пробегающая по всему его телу, стали поражать, но в то же время и интересовать меня... Однако, я старалась отдаляться. "Дедушка", заметив это, прямо и искренно заявил, чтобы "Дитя" не пугалось его несчастного и не винило его, что он не тронет меня, но в то же время не в силах побороть страсти, которая иногда естественно овладевает им, что он не хочет этих бурных чувств, потому что любит меня и как друг, и как отец, но не в силах не любить, и как женщину.

"Простите мне невольные порывы, подумайте, ведь я невольный вдовец уже пять лет! И, кроме того, - несчастный идеалист, которому противны все француженки-кокотки и т.п. Я могу только любить идеальное существо и в таком случае я отдыхаю и страдаю ужасно!" Действительно, дело стало доходить до того, что В.П. бросался иногда целовать мои руки, падал на колени как юноша, целуя мое платье, потом мочил голову водою, рвал себе волосы, бороду и едва-едва успокаивался. Можно судить, насколько это страшное проявление страсти влияло на меня и интересовало, как что-то неведомое и новое. Почти всегда В.П. в такие минуты был противен мне, но потом мне становилось жалко его, и я невольно поддавалась наблюдению этого нового чувства, желая познакомиться с ним, чтобы лучше понимать людей и уметь оправдывать их и в данном случае. Для выяснения отношений "Дедушки" ко мне прилагаю коллекцию его стихотворений и некоторые письма наши.

**Стихи, написанные "Дедушкою"
В.П.М. на портрете данном мне.**

*Дарю Вам образ человека,
Который сам себя сгубил
Лишь тем, что лучшие полвека
Одни лишь призраки любил
Который дар ему врученный,
Не пользе ближних посвящал,
Но пел, лишь страстью увлеченный,
Или тогда, когда страдал.*

1878 г. Января 31. В.М.

**Ответ на взаимно данной мною
карточке в феврале 1878**

*Даря свое изображенье,
Могу одно лишь пожелать:
Чтоб Вы, поняв свое значенье
Могли бы ближним помогать,
И не одним лишь сожаленьем
Ошибки в прошлом поправлять
Ю.*

Стихи другим, показанные для рекомендации себя, как поэта.

Вы молоды еще, Ваш детский светлый взор
 Не в силах скрыть еще ни горя, ни сомнений,
 О тайных думах он, порывах увлечений
 Без слов ведет со мной понятный разговор,
 Но искра и теперь во взоре том видна,
 Хотя теперь она едва заметно тлеет,
 Но тот, кто знает Вас, из ней добыть сумеет
 Потоки целые небесного огня .

В.Марков.

Люблю я смотреть в твои светлые взоры,
 Когда в них стыдливость девичья блесит.
 Люблю я порою твои разговоры,
 Где слово за словом, как птичка летит.

Люблю я порывы невольных движений,
 Где ласка сменяется гневом твоим;
 Люблю я!..... Но жаль, что подобных мгновений
 Любить не годиться по летам моим.

Ты хороша, в том спору нет;
 Я отрицать того не стану,
 Что утверждает целый свет;
 Ты хороша в том спору нет.
 Но ты так зла и так коварна,
 Ты рада всякого язвить,
 Злопамятна, неблагодарна,
 Тебя нельзя, нельзя любить.
 А несмотря на то, невольно
 Тебя люблю я всей душой
 Мне без тебя остаться больно
 И страшно вместе быть с тобой.

Экспромт романс.

Тебе не понять тех страданий,
 И той безысходной тоски,
 И слез тех без звука рыданья,
 И трепета жаркой руки;
 В душе твоей вечно холодной
 Не видно и искры огня,
 И дышит беспечно, свободно
 Свободная вечно душа.
 Ты смотришь с спокойной улыбкой
 На страшные муки мои,
 Считая любовь лишь ошибкой
 Иль вовсе не веря любви;
 И горе тебя не коснется,
 И жить тебе будет легко,
 Пока и в тебе не проснется
 Все то, что так спит глубоко.

**Стихи для меня
 экспромтом набросанные.**

Друг мой незабвенный!
 Подари мне старцу
 Ключик тот волшебный,
 Что подходит к ларцу.
 К ларцу, что в народе
 Ретивым зовется,
 Коли на свободе
 Оно только бьется.
 За то право власти
 Я отдам что в силах, -
 Весь остаток страсти,
 Что бушует в жилах

**Стихи после того,
 как я назвала "Дедушку" "Мотыльком"**

Спасибо за то, что не злым и холодным,
 Малютка моя, ты считаешь меня,
 Что даже порою не делом бесплодным
 Тобой признается беседа моя.
 Мне было обидно твое лишь сравненье:
 Под старость казаться смешно мотыльком,
 В то время, как в думах одни лишь сомненья:
 Развесть вновь огонь под своим котелком.
 Давно уж потухшим, холодным как льдина
 В то самое время, как волей судьбы,
 Видна в моем будущем только картина
 Одной роковой безысходной борьбы!

Все, что лишь осталось
Дорогого в жизни,
Что во мне считалось
Выше укоризны;
Всю ту искру Божью,
Душу всю и тело
К твоему подножью
Положу я смело.

Страдающий много - сильнее ждет счастья,
А я ли не много, не долго страдал?
Неужель позорно и то, что участья
Я в людях невольно и страстно искал?
Ты тоже любила... Забыта ты тоже!
Но свято хранишь это чувство в себе,
Его не клянешь ты, пошли ж тебе, Боже
И крепость и силу в дальнейшей борьбе!
А я уж слабею, нужна мне опора,
Без ней я рискую свалиться и пасть.
Да! Сердце мое то остынет от горя,
То снова горит в нем бесплодная страсть!
Твой ларчик конечно не мне предназначен,
Отдашь ты другому заветный свой ключ,
Да, путь мой до гроба останется мрачен,
В твоём же блеснет еще солнышка луч.
Прости же, малютка; за то, что невольно
Затронул я свежую рану твою!
Пусть знаем мы оба, как горько и больно
Желать, но не высказать слово "Люблю".

Прости мне муза, простите и вы, если я не выполнил моей задачи, если стих мой не звонок и не выразителен, но одно в нем хорошо - он без поправок вылился из души человека, от всего сердца желающего своему юному другу всего лучшего в мире. Прощайте, больше писать не могу, ничего не вижу, напишите поскорее хотя одну строчку. Ваш Владимир Марков

Затем мою интимную беседу с музой прервали, пришедшие в мой кабинет Барсов, Люба и Вера. Увидав что я пишу стихи, все потребовали им написать по экспромту. Делать нечего, написал. Из них сообщаю Вам один, других сообщать не стоит, экспромт этот посвящен Верочке Стырикович. Вот он:

Твою прелестную головку
Охотно б взял моделью Грез,
Но берегись ее плутовку...
Она доставит много слез.
Тебе самой и тем, кто ближе
К тебе захочет подойти,
Так осмотрительней иди же.
На скользком жизненном пути.
Ты молода, - весьма понятно,
Что похвалу и кстат лесть
Тебе выслушивать приятно,
Но знай, что яд в них тайный есть.
Яд очень сладкий, незаметный,
Но сильно действующий яд...
Он проникает в край заветный,
Где страсти женские царят.
Он разжигает эти страсти,
Он кровь волнует, сердце жжет,
Лишает силы, воли, власти
И к верной гибели ведет!

Вот мой совет! Его исполнить
Тебе конечно не легко,
Но все ж мой друг, его ты помнить
Должна для счастья своего!
9-го Ноября.

14-го Ноября 1878 года.

Не хотел больше писать Вам, Юный Друг, до того времени, когда Вы сами напишете мне, хотя одну строчку, но не утерпел и пишу. Может быть, я надоел Вам хуже горькой редьки, может быть Вы дойдете до того, что перестанете не только читать, но и распечатывать мои письма, мне все равно, я пишу, потому что мне доставляет какое-то удовольствие, даже удовольствие несколько наркотическое беседа с Вами. Поэтическое настроение мое еще не прошло, и я среди массы работы ловлю свободные минуты и пишу.

Вы меня как-то просили переписать Вам некоторые из моих стихотворений, пусть же начало положат те из них, которые написаны в последние дни. Это будет и справедливо, так как Вы были виновницей поэтической эпидемии моего последнего периода. Итак, бросаю болтовню и обращаюсь к списыванию стихов.

К Ю.В.

Большие Вы, светлые, серые
И полные думы глаза!
Зачем Вы, как будто не веруя,
Глядите порой на меня?
Невольно Вам будто бы кажется,
В речах моих тайный обман,
Но верьте, что скоро уляжется
Исчезнет и этот туман.
Поймете тогда и увидите,
Что нет во мне фальши ни чуть,
Которую Вы ненавидите,
В какой она форме ни будь
Что все во мне просто и искренно,
Что весь на лице я всегда,
И руку пожмете мне мысленно
С участием теплым тогда.
Какое чудное сравненье
С могучей силою весны,
Тебе шепнуло увлечение
Среди безмолвной тишины.
И правда, та сила могуча,
Которая жизнь создает,
Не страшны ей буря и туча
И в них она пользу найдет!
Взамен же того оживленья,
Которое вдунет она,
Природа дает обещанье.
Отдать себя миру сполна.
Однажды осенью на поле
Упало семя ржи
И, как известно, поневоле
Уснуло до весны.

Но осень чудная была,
 Так снисходительно тепла,
 Что жизнь вызвать из зерна
 Невольно вдруг могла.

И вот на поле темном
 Зазеленел росток,
 И в обаяньи скромном
 Поднялся на вершок.

Потом полез не днями
 Он кверху подрастать,
 А просто уж часами
 Листочки распускать.

А там, между листочком
 Колосик проглянул
 Бесплодным он цветочком
 На Божий мир взглянул.

И тут молитву теплую
 Тому он возсылал,
 Кто жизнь его недолгую
 Так поздно пробуждал.

И лишь тогда осенний луч
 Внимая той молитве
 Сознал, что вовсе не могуч
 Растенью дать развитье.

2

Не может он уж уничтожить
 Тот холод, что все окружил
 И только гласит: "не тебе жить
 Умри, если нет в тебе сил!

И жди в той могиле сыпучей
 Влиянья такого луча,
 Который бы силой могучей
 Сумел бы взять всю дань от зерна!"

Ну вот какое сравненье
 Сложила в ответ я тебе
 Скажи, от какого паденья
 Нашел огражденье во мне?

Какого разряда те силы,
 Что я возбудила в тебе?
 Не те ли в тебе лишь порывы
 Которых итог весь в нуле?

Какие такие желанья,
 Невольно проснулись в тебе?
 Стыдись же такого признанья,
 Коль все это квас в решете!

Какая ж польза в возрожденьи
 Тех сил, что бесплодно царят
 И страшным ума помраченьем
 Людей обращают в ребят!

22-го Декабря ночь 1878 г.

3

Что-то долго зима не приходит...

Все дожди на дворе да тепло,

Если ж солнце порою выходит

Не по зимнему греет оно!

Растерялась невольно природа,

Что ей делать не знает, как быть...

Время смерти пришло, а погода

Заставляет насильственно жить.

Наливаются почки на ивах

Еще в листьях иные кусты,

На вполне сохранившихся нивах

Распускаются снова цветы.

Уж не мне ли намек посылаешь

Ты, природа, на старости лет?

Не в моей ли душе замечаешь,

После тьмы, зародившийся свет?

Не для ней ли отсрочила время

Наступленья суровой зимы

Чтоб взошло в ней и выросло семя

Запоздалой, случайной любви?

О напрасно! она понимает,

Что морозы уж слишком близки,

Что осенние в них погибают,

Уж совсем безвозвратно ростки!

Торопись же морозы и вьюгу

Мать природа скорей посылать,

Ты всему тем окажешь услугу

Чему время пришло умирать.

Стихотворение слабо, но мысль, не правда ли, верна?

4. Помещаю далее, пишет В.П. вчерашнее стихотворение написанное ночью. В стихотворении этом с фотографической верностью изображены все ощущения, волновавшие меня во время бессонницы. Не знаю понравится ли оно Вам, но мне лично оно очень нравится, по крайней мере теперь. Не знаю, что будет, когда прочту его немного времени спустя, и при ином расположении духа. Размер длинен.

Как скучно, безжизненно тихо и скучно!....

При свечках работать врачи не велели,

А ночью же! ..маятник мерно и звучно

Свой такт отбивает, часы зашипели

И пробили два, все в доме уснули....

Ко мне, одному только, сон не приходит:

И скука и темень ночная спугнули

Рой мыслей тревожных, так ясно проходят

Пред взором за сценой тяжелые сцены

Прожитого горя в последние годы,

В груди моей тяжесть, как будто бы стены

Ее придавили и рухнули своды,

А сердце, то бьется с ускоренной силой,
 То вовсе неслышно становится биения,
 Мне комната кажется тесной могилой,
 А сам я умершим!... Но где же забвенья?

За гробом уж нет ведь больше страданий,
 Там вечный покой ведь и мир наступают?
 Но где ж этот мир? и к чему же рыдания
 Кипят на душе и к груди подступают?

Зачем не могу я забыть безвозвратно
 Прожитого счастья желаний безумных?
 Вернуть это счастье былое обратно?
 Прожить хоть немного мгновений тех чудных,

Которых ценить не умел я когда-то,
 В дни счастья, в дни тихого полного счастья,
 В то время как жизнь была ими богата,
 Как сами они меня звали в объятья?

Зачем же теперь, когда силы не стало,
 Когда их вернуть для меня невозможно,
 Когда уже сердце до тла дострадало,
 Они меня снова тиранят безбожно?

О сон или смерть!... Для меня равносильно,
 Придите и дайте, хотя на мгновенье,
 В душе моей бедной страдающей сильно,
 И мир, и покой, и отраду забвенья!

Как продолжение к моему стихотворению, приложенному к письму от 14
 Ноября, посылаю другое, изображающее действительно виденный мною сон...

Тяжелой и долгой борьбой утомленный,
 Уснул наконец я, - и вижу во сне:
 Что я просыпаюсь совсем обновленный,
 Что снова я молод, свободен вполне...

Что снова открыты мне стали дороги,
 И к счастью и к славе раскинулся путь,
 Воскресли внезапно былые тревоги,
 Вдохнула свободно ожившая грудь.

Вот снова в студенческом милом мундире,
 В кругу моих юных и пылких друзей,
 Собравшихся дружной семьей на пире
 Стою вдохновенный я с лирой моей.

Восторженно льется могучее слово,
 Горячею правдой и жизнью полно,
 То вдруг обвинение бросит сурово,
 То теплым участием дышит оно.

Окончена песнь, и товарищи-братья,
 Как будто в ответ на горячий привет,
 Все разом певцу открывают объятья,
 Во всех одинаковый виден ...порыв!

Во всех них видна неподдельная радость,
 Готовность идти хоть немедленно в бой
 Вступиться за правду, за рабство, за слабость,
 За честь, за свободу, за кров свой родной.

Но кто ж там, восторгу толпы непричастный,
Стоит в отдаленье? На дружеский пир
Зачем он явился к нему безучастный?
На нем не студенческий даже мундир.

Зачем же с усмешкой холодной злобы
Он смотрит в лицо мое прямо в упор
Не завистью тайной, а местью до гроба,
Враждой бесконечной пылает тот взор

Черты незнакомца мне вовсе не чужды:
Лица выраженье, косою этот глаз
Я где-то уж видел... Но память без нужды
В подобный будить не хотелось час,

И я позабыл о нем.. Вдруг, со мной рядом
Опять появилась фигура его,
И вот говорит он с сверкающим взглядом:
"Неужель ты друга забыл своего?"...

Зачем же ему, как и прочим объятья
Не хочешь по братски и сердце открыть?
Ведь мы с тобой связаны крепче чем братья:
Одну нам обоим пришлось любить

Ее убедил ты, заставил в то время
Оставить меня лишь во имя детей!
Так знай! Не заглохло, а выросло семя,
Мне в душу заброшенных ею страстей!

Теперь рассчитаться пришел я с тобою,
Возьми же и мой ты за песню привет!
И вдруг заблестал над моей головою
В руках его длинный и острый стилет!

Отпрянуть хотел я.. Но поздно уж было,
Мне в сердце вонзилась холодная сталь...
И чувствовать стал я, как все уходило
От взоров моих в непроглядную даль!

Но вот я от боли как будто очнулся,
Схватился за сердце, подняться хочу,
Глаза открываю, кругом оглянулся -
И вижу в постели своей я лежу.

Кругом все привычные взору предметы:
Вот карта России висит на стене,
Знакомые смотрят из рамы портреты,
Ряд банок с лекарством стоит на окне.

То сон был тяжелый! Так значит забвенья
И отдыха дать мне не может и сон,
И в нем от.... нет мне спасенья,
Везде на пути мне встречается он!

Человек я минуты!.. не ново
Мне название это, но рад,
Что лишь ради красного слова
Подносит в состоянии яд!

Симпатизирующий Вам всегда, но не всегда Вам симпатичный Владимир
Марков.

7. Копия с письма моей жене

Ты говоришь, что в жизни можешь
 Одной наукою прожить,
 Что силу в ней одной находишь
 Все пережитое забыть!
 Что цель твоя достичь свободы
 Самой без помощи чужой,
 Все остальные жизни годы
 Иметь кусок насущный свой,
 Заняться делом воспитанья,
 Добыть работу где-нибудь...
 Благия это начинанья,
 Но труден к ним и долог путь!
 Я против пользы просвещения
 Не стану спорить никогда,
 Возможность признаю забвенья
 Всех бед на поприще труда,
 Но не для всех одна дорога,
 Хотя их цель порой одна:
 Чтоб выбрать путь себе, ты строго
 О всем обдумать бы должна,
 Должна бы взвесить результаты
 Того, что сделать хочешь ты,
 Как не заманчиво богаты
 Твои стремленья и мечты.
 Ты не одна, судьбе угодно
 Тебе малюток было дать...
 Едва-ль для матери пригодно
 Их без призора покидать!
 Они малы еще - им нужно
 Влиянье матери родной!
 Пойдем же честно мы и дружно
 С тобой дорогою одной,
 Путем иным, чем шли когда то,
 Путем серьезного труда,
 Тебе я буду вместо брата
 И другом честным навсегда
 Забуду все, что было прежде
 И заглушу навеки путь
 К своей несбыточной надежде
 В возможность счастье вернуть!
 Хоть не сложны мои занятья,
 Тебе их узок интерес,
 Но мы разделим их как братья
 Найдем возможность на прогресс.
 Здесь бедных много, - вот работа
 Тебе одна уже и есть,
 Твоя разумная забота
 В их долю много может внести.
 Откроем школу.. понемногу
 Свою больничку заведем...
 Лишь стоит выйти на дорогу,
 Работы вдоволь мы найдем.

А детки наши разве мало
 Для них работы предстоит,
 Дай Бог, чтоб времени достало,
 Работа так и закипит!

Возьмем хозяйство наше в руки,
 Его ты станешь изучать
 И все, что нового в науке,
 Как опыт к делу применять.

Мы не одни с тобою будем,
 Составим круг себе друзей
 И понемногу позабудем
 Пролом под кровлею своей.

Не для себя прошу я счастья,
 Хотя и я бы счастлив был
 Когда бы в детские объятья
 Их мать родную возвратил!

Прости мне друг и верь упрека
 Тебе сказать я не хотел,
 И даже тайного намека
 На укориэну не имел.

Одно лишь мной руководило,
 Желанье страстное одно:
 Чтоб детям мать ты возвратила,
 Хозяйку дома своего!..

8. Моей дорогой дочурке Оле Марковой. Песня о воробушке.

Было у воробушка
 На сенном сарае
 Тепленькое гнездышко,
 И жилось как в рае!

Прилетели вороны,
 На гнездо нахлынули,
 На четыре стороны
 Теплое раскинули!

Самочку из гнездышка
 От птенцов похитили,
 Все в гнезде до перышка
 Вороги расхитили!

Птенчиков-малюточек
 Разбросали по лугу,
 Знать наделать шуточек
 Захотелось ворону.

Мечется меж пташечек
 Воробей, чирикает,
 Маленьких ребятушек
 Ищет он да кликает!

То к тому, то к этому
 Подлетит, усядется,
 И долгонько бедному
 Так пришлось маяться!

Нес им зерен, мошек,
 Сколько было силушки
 И у птичек крошечек
 Распустились крылышки!
 Вспорхнули на волюшку
 По свету широкому,
 Быть пришлось воробушку
 Снова одинокому.

Владимир Марков 1879 года, 17-го января.

9. Одно стихотворение взято В.П. для переделки, а вот ответ на него и на № 8 и 9

Целителем юным признали меня!
 Какое чудное название!
 С охотой жизнь бы отдала,
 Чтоб оправдать такое звание.
 Но нет, ни нам, твореньям слабым,
 Свершать возможно чудеса
 Куда же нам твореньям малым
 Снимать с цепей тебя раба!

Брось-ка пустую тревогу
 Брось, что считаешь пропащим
 Выбери лучше дорогу
 Помощи страждущим братьям.
 Помощи темному люду
 Тем, кто страдает не плача,
 Тем, кто страдает повсюду
 Вот для тебя где задача!

Горе твое облегчится
 Прошлое сгинет бесследно,
 Светом иным осветится
 Цель твоей жизни не бледно!
 Примешься бодро за дело
 Прочное счастье достанешь
 Как-то и сам пред собою
 Чище и выше ты станешь.

Вот о каком зарожденьи
 Счастья иного в тебе
 В миг тот немой утешенья
 Рифмой сказала тебе!
 Боже, пошли ж тебе силы!
 Новую жизнь начать,
 Помни, во мне до могилы
 Отклик ты будешь встречать.

Отклик на все то, что честно,
 Чем ты поднимешь себя,
 Радость и горе всечасно
 Отзыв найдут у меня.
 Бури же пылкой стремительной
 Мне никогда не понять,
 Вот почему столь доверчиво
 Рядом пришлось устоять.

Вот, что написал я за эти дни. Первое стихотворение было навеяно Вашим советом: для забвения горя и страданий надо обратиться к труду и в нем искать исцеления.

10

Близится шаг роковой,
 Драмы семейной развязка...
 Счастье бывшее с тобой
 Грустно расстаться и тяжко.
 Трудно на веки терять
 Все, что мне дорого было,
 Все, что привык, уважать,
 Все, что так сердце любило.

Жаль заложить себе путь
 Даже и к самой надежде,
 Хоть на мгновенье вернуть
 То, что лелеяло прежде,
 Жаль, но ведь горю помочь
 Трудно одним сожаленьем...
 Надо себя превозмочь,
 Встретить удары с терпеньем.

Надо отдаться труду,
 В нем лишь надежда спасенья.
 В нем я быть может найду
 Тихую пристань забвенья.
 Дайте же люди вы мне,
 Дайте ж такую работу,
 Где бы забыл я вполне
 Горе свое и заботу.

Где бы я мог отдохнуть,
 С силами мог бы собраться,
 Дайте на новый мне путь
 С старой дороги пробраться.
 Дайте... но нет! на Руси
 В этой пустыне безлюдной
 Разве возможно найти
 Тень хоть работы подобной!

Кроме рутинных работ,
 Кроме мамоны служенья,
 Что в ней страдалец найдет?
 Где же дорога к спасенью?

9-го Ноября вечером.

Затем, как бы в ответ на этот вопрос, вылилось другое стихотворение, которое Вами, по чистоте души Вашей, не будет одобрено, и которое я и сам, по миновании экстаза, признал уже слишком экзальтированным и не свойственным моим уже почтенным летам.

11

Что-то в душе копошится моей!
 Хочется воли, волнения ей,
 Хочется снова испробовать счастья,
 Хочется страсти, взаимной... страсти!

Где же желаний безумных предел?
 Где же найти ей желанный удел?
 Кто ей поможет и в чьей это власти?
 Власть та у страсти, у пламенной страсти.
 Есть ли забвенья от горя и бед?
 Где на призыв свой найду я ответ?
 Скроюсь от горя зияющий пасти?
 Только лишь в страсти, лишь в бешеной страсти!
 Кто мне свободу мою возвратит?
 Силы былые во мне возродит?
 Кто мне протянет в том руку участия?
 Все придет с страстью, с безумною страстью!

13

9-го Ноября.

Кстати. выписываю Вам еще одно стихотворение в придачу двум первым, помещенным в настоящем письме и подходящее по своему смыслу к ответу на Ваш совет трудиться. Стихотворение это, как противоречие с ними обоими ясно покажет, какой сумбур бушует у меня в душе. Предупреждаю Вас, что ни одно из моих стихотворений не отделано и сообщается Вам в самом наисырейшем виде, в том самом виде, в каком они вылились в минуту стихобесия и умопомрачения.

Не судите же строго Вы их,
 Моих деток убогих, хромых,
 Они жидки, сейчас из печи
 Но зато - горячи, горячи!

Вот это пресловутое стихотворение:

Где вы мечты мои юные?
 Сладкие, чудные грезы?
 Страсти воскресшие, буйные?
 Первые счастья слезы?
 Молнией будто летучей
 В бедной душе вы промчались....
 Дали ей свет и за тучей
 Прежних страданий остались!
 Я ж, как ребенок, беспечный,
 Думал поймать Вас руками,
 Думал, что вашими вечно
 Буду согрет я лучами!
 Думал! ...а жизненный холод
 В душу проник мою снова:
 "Вспомни!...ведь ты уж не молод",-
 Шепчет мне в ухо сурово.
 Брось свои грезы несчастный,
 С ними смешон ты под старость,
 Труд ты предпринял напрасный,
 Поздно искать уже радость.
 Радость мгновенье пробудит,
 Горе - надолго приходит...
 Значит, умнее тот будет,
 С горем кто дружбу заводит.

Брось же пустую тревогу,
 Брось же погоню за счастьем,
 Выбери лучше дорогу.
 Помощи страждущим, братьям.
 Помощи темному люду,
 Тем, кто страдает не плача,
 Тем, кто страдает повсюду....
 Вот, где для жизни задача!

Горе твое облегчится,
 Страсти погаснут бесследно,
 Светом иным осветится
 Шаг твой жизни последний!
 Справишься с этой борьбою,
 Прочное счастье достанешь,
 Как-то, и сам пред собою!
 Чище и выше ты станешь.

Совет данный мне Музой, при написании этого стихотворения, как видите, очень похож на Ваш совет. Что, впрочем, и говорить. Вы с нею должны быть очень близкие родственницы, недаром шалунья Муза принимает иногда Ваш образ.

Копия стихов, написанных мне экспромтом на лекции, которой занимались:

На душе так тяжко
 Мир как будто тесен
 Спой-ка мне колибри
 Хоть одну из песен..
 Что бальзам вливают
 В душу мне больную,
 То ея покоя,
 То ея волнуня!

Я для этой песни
 И пришел сегодня
 Для меня те звуки
 Благодать Господня. В.М.

15

Буре бешеной подобно
 Я излился в страсти пылкой,
 Ты же с кроткою улыбкой,
 Так доверчиво, не злобно,
 Даже бровь свою не хмуря,
 Не сердясь, не обижаясь,
 А спокойно доверяясь,
 Отнеслася к этой буре.

И готовую разлиться
 И разрушить без пощады,
 Все ей встречные преграды
 Страсть заставила смириться!
 Наложила ты оковы
 На поток горячей лавы!
 В этом честь тебе и слава!
 Но беги от бури новой

Хотел, было, прибавить одно стихотворение, но поздно.

12

Чувство истинной любви
 Чувство разумное, чувство небесное..
 В нем-то и кроется сила чудесная
 Чтобы забвенью от горя найти,
 С радостью льется тогда всем прощенье
 Трудишься вместе чтоб клад обрести.
 Клад этот счастьем в народе зовется
 Надо уметь его удержать
 Помни, лишь в страсти его не найдется
 Все в ней мираж, столь умелый пленять.

Ответ, на стихотворение "Власть та у страсти".

16

Пусть мгновения тихого счастья,
 Что вчера разделил ты со мной
 Будут искрой для нового счастья
 Озаренного целью иною,
 Чтоб оно не считалось мгновеньем
 С каждым днем все росло и росло,
 Чтоб ты понял каким наслажденьем
 Награждаемся мы за добро.

Рифма, сказанная после немого утешения.

1879

3-го Февраля в день Св. Анны мне исполнится 25 лет. Пусть же четверть моего столетия ознаменуются чем-нибудь. Сделайте мне для этого дня, дорогой подарок. Заклучите хоть как-нибудь Ваше чудное стихотворение: "Чудную картинку луна осветила", одним словом, долю нового крестьянина. Умоляю Вас всем тем, что я любила и люблю и именем Вашего собственного счастья: не поленился сделать первый шаг, ведь только он труден. В следующий приезд возьмите с собою непременно, и можно отнести их в редакцию Отеч. Записки. Пройдем туда вместе. Всею душою преданная.

Снова счастье бывшее блеснуло!
 Снова сердце любовью полно!
 Точно ветром весенним пахнуло,
 Будто лед с себя сбросили волны.
 И горячего солнца лучами
 Разогреться, с шумом стремятся!
 Все, что было покрыто снегами
 Стало быстро кругом просыпаться:
 Зеленеются луга травой,
 На полянах цветы зазелели,
 Лес кудрявой тряхнул головою,
 И рассыпались звонкие трели.

Поднебесных невидимых хоров!
 Все так чудно кругом, так прекрасно,
 Для души человека и взоров,
 Что молиться захочется страстно!

Перед Тем преклониться, кто много
 От щедрот нам своих посылает,
 Перед тем, кого именем Бога
 Сотворенный им мир величает!

Помолюсь же и я перед тою,
 Что как Бог мне дала возрожденье,
 Что любовью своею святою
 Оградила меня от паденья,

Силы юные мне возвратила,
 Воскресила былые желанья
 И бальзам исцеленья пролила
 На тяжелые раны страданья

Припаду к ней и край лишь одежды
 Горячо, горячо поцелую!
 Посвятив ей всю жизнь, все надежды,
 Всю любовь и всю веру святую.

Декабря 15-го, ночь.

17

15-го и 16-го Января 1879 года.

Дорогая моя! 20-го января собираюсь в Петербург, а до этого еще далеко, между тем, как невыразимо хочется побеседовать с Вами. Работа кончена почти начисто, уделено время ни на кое-что другое, и это-то кое-что другое я с охотою заменяю заочно беседою с Вами. Спасибо за Ваше более чем хорошее письмо, но не буду говорить о нем прозой. Пусть мой дорогой друг-Муза поможет мне выразить все, что я испытал и переживал при чтении Вашего письма. Начинаю:

Я прочел, мое дито прелестное,
 С бесконечным восторгом в душе
 То письмо твое теплое, честное,
 Что прислала ты с Надею мне.

В каждом слове письма того чудного,
 Я малютку свою узнавал:
 В нем проснуться от сна непробудного
 Мой ребенок меня вызывал!

Мне сулил он и славу и счастье
 Быть Бояном родной стороны,
 Возвращал в дорогие объятия
 Разлюбившей, но милой жены.

Под влияньем, быть может, мгновения
 Он названия друга дарил,
 Воскресить во мне жар вдохновения
 И таланта, как видно, сулил

Что же я-то в ответном послании
 Мой ребенок отвечу тебе?

Все это грустно, дорогое дитя мое, но все это так. Доказательством этому может служить следующее обстоятельство: под влиянием Вашего милого письма, я засел за

работу и именно за ту, на которую Вы указывали, - стал продолжать мою песнь о крестьянине. Хотелось мне описать школы, но увы, задача оказалась выше моих сил, творчества не хватило и вышло чересчур слабо, бессодержательно и тенденциозно, точь в точь в прописи, по которой нас с Вами учили чистописанию. Сообщаю Вам мою слабую попытку и прошу высказать ваше мнение со всею резкостью и правдою.

Песня 5 **Школа.**

Незатейлива хата училища -
Из амбара построенный дом!
Из крестьянского хлеба-хранилища
Храм науки устроен в нем!
 Парты все до одной переполнены,
 Неудобен и тесен их ряд,
 Они на тридцать душ приготовлены,
 А учащихся всех пятьдесят!

Разношерстной толпой поместились
Ребятишки и девочки там,
Вот учитель вошел, помолились
И расселись по узким скамьям
 Кто поменьше - поближе к учителю,
 А постарше - на задних скамьях,
 Ждут приезда к себя попечителя
 Им экзамен назначен на днях.

Лица детские как-то встревожены,
Для них близится час роковой,
Перед ними в порядке разложены
Грудки книжечек взятых с собой.
 Школа внове, - в ней три отделения,
 Надо всех их отдельно занять..
 Должен много труда и терпения
 Их учитель в себе совмещать.

Ему мало научного знания,
Нужен навык и к детям любовь,
Нужно полное в нем понимание
Того дела, что поднято вновь!
 Что юна еще школа народная
 Не развилась еще, не прочна,
 И программа та ей непригодная
 Не ведущая к делу дана!

Что ученье письму лишь и грамоте
Наш крестьянину давно уж имел,
Да без толку, - надолго ли в памяти
Сохранить эти знанья умел.
 Что ребенка знакомить с природою
 И совсем, что лишь ею дано,
 С его долгом, законом, свободою,
 С человеческим правом должно

Вот задача его! - и на счастье
Много сил на Руси молодых
Что готовы отдать без изъятия
Свои знания для братьев меньших!

Счастье это и в наше селение
 Тоже видно на помощь пришло:
 И развитие детей и учение
 В нем с успехом желанным пошло.

Тихо в школе, в немом ожидании
 На учителя дети глядят,
 Что-то скажет он им на прощание?
 Занимает неволью ребят.

"Ну, голубчики, классы окончили", -
 Говорит молодой педагог,
 "Вижу лица у вас озабочены,
 Да не бойтесь! поможет нам Бог.

И экзамены выдержим с честью!
 Разве год мы учились тому,
 Чтоб пугаться без толку известию
 О приезде начальства. К нему

Вы должны относиться признательно,
 Он за делом приедет сюда,
 Чтоб свидетельство дать окончательно
 Тем, кто кончил ученья года

Докажите, что вы собирались
 В вашу школу не ради потех,
 Что недаром вы год занимались
 А имели в науке успех.

Вы! что дело окончили школьное
 С словом к Вам обращаю я
 Перед вами дорога привольная,
 На все стороны братцы легла!

Много-много соблазнов представится
 Вам на этом широком пути
 Осторожно должны вы направиться,
 И с оглядкой в дорогу идти.

Будьте честны, любите как братья
 Ваших ближних любите и труд
 Только им вы достигните счастья
 Лень и праздность к несчастью ведут.

Постарайтесь всегда быть правдивыми,
 Дорог правдою нажитой грош
 Но и сладок, делами ж фальшивыми
 Никогда до добра не дойдешь!

Уважайте свободу, не кланяйтесь
 Перед сильными мира сего,
 Коль за правду виновны останетесь
 Ту беду перенести ничего!

Чтобы с вами друзья не случилось
 На чужбине или дома в семье
 Не забудьте, что мной говорилось
 Что узнали на этой скамье!"

Владимир Марков.

Сообщаю еще одну, написанную мною за последние дни песенку.

Солнце к полдню разгораясь,
Жжет поверхность вод
Надо мною же сплетаясь
Свили ивы свод.

Позабыв о ловле рыбы,
Замечтался я,
И бежит по водной зыби
Думушка моя!

Мне прохладно, чувством счастья
Грудь моя полна
И зовет меня в объятья
Вольная волна

Увлекателен и страстен
Говор этих волн:
Посмотри, как мир прекрасен
Говорит мне он.

Посмотри, как солнце светит,
Ярко как горит
Где ни взглянет, что ни встретит,
Все озолотит.

Как раскинулся красиво
Этот темный лес,
Подымается лениво
Чуть не до небес.

И над ним прозрачной дымкой
Облако лежит
Ветер будто невидимкой
Из него бежит

То по лесу заиграет,
Шаловливо он
И тяжелый прорывает
Великана сон.

То по волнам вдруг промчится
Нарушая штиль,
И на солнце серебрится
Водяная пыль.

Разогнал, коров из стада
Полуденный зной,
Заманила их прохлада
Под навес лесной.

Как картинно разбросалась
Пестрая толпа!
Чу! Над речкою раздалось
Песня рыбака.

Заломив за спину руки
Он лежит в челне,
И далеко слышны звуки
По живой волне.

С луга скошенного льется
Сена аромат
Все кругом тебя смеется
Всякий утру рад.

Позабудь же свое горе
 Нам отдай печаль
 Унесем ее мы в море
 И забросим вдаль.
 И волны той страстный лепет
 Все напомнил мне,
 И давно забытый трепет
 Пробежал в душе.
 Снова стал я жаждать счастья
 Снова я живу!
 И в горячия объятия
 Милую зову!
 Но не слышит видно зова,
 Та, кого люблю
 И в объятия я снова
 Призрак лишь ловлю!

В.Марков.

Эта песенка - и поэтичнее и живее, так как ею затрагиваются более всего натянутые струны моего сердца, и горе мое, - что это бывает всегда так: поэзия моя есть чисто нервный продукт, расстроены мои нервы, болит душа - песнь льется грустная, будто я нанизываю на нитку свою собственную слезу; легко на душе - песня улыбается, душа сама торопится охватить, обнять окружающую природу; бушует сердца страсть - и стих мой загорается, льется неудержимо, сам горит и меня обжигает. Во всех этих случаях стихи мои хороши, но чуть я отступаю от личных ощущений, чуть касаюсь вопросов не вполне охватывающих мою душу, стих мой, за редкими исключениями, далеко уже не так хорош, он делается вял, натянут, и в нем внятно звучит фальшивый тон, некоторая деланность. Вот, как исключение, прилагаю мои последние стихи.

Сказка о рябинушке

В царстве вьюг и холода,
 Горя, слез и бед,
 Нищеты и голода,
 Жил лесничий дед.
 Лишь одну заботушку
 В жизни дед и знал,
 Да и ту работушку
 Не по силам взял.
 День деньской шатается
 Лес свой стережет,
 К вечеру умается
 Еле уж бредет.
 Вот, что раз случилось:
 Сбился он с пути,
 К дому ж приходилось
 Далеко идти.
 А брести не в моченьку,
 Лес куда велик!
 И в лесу ту ноченьку
 Ночевал старик.

В чашу забирается
Где погуще ель,
Смотрит, озирается,
Где бы стлать постель?

Видит: сиротинушка
Без родных друзей
Выросла рябинушка
Меж густых елей.

Солнышка горячего
Луч не греет всласть,
Облака ходячего
Капле не попасть

Ни зверек, ни пташечка
Мимо не мелькнет,
Как в тюрьме бедняжечка
Дерево живет!

Лист на ветках тощенький,
Бледненький такой,
Горько единешенькой
Надоел покой!

Цветик лишь покажется,
Сразу и замрет,
А до ягод кажется
В век не доживет!

Трудно единешеньку
Дереву расти
И тоску-тосчешеньку
Не с кем развести.

Силы б было в волюшку,
Глядь!.. ан воли нет
Буйную головушку
Выпустить на свет.

Просит всех рябинушка:
Дайте топора!
Дайте! сиротинушке
Вырастить пора.

Стало жаль бедняжечку
Дед топорик взял
Целую упряжечку
Ели подрубал.

Стонут ели, бесятся
Смолью слезы льют,
Иглами как вцепятся
До крови дерут.

Целый час без отдыха
Дедка прорубил,
Дал рябине воздуха,
Место оголил.

Кончил дед работушку
Пот отер с лица,
Сам, значит, свободушку
Дал для деревца!

Дал, а сам задумался...
 Как теперь-то быть?
 Во время ли сунулся
 Ели подрубить?

Радостно рябинушка
 Деду говорит:
 Бог тебя старинушка
 Вдосталь наградит!

Дерево я малое
 Нечего мне дать,
 Тощенькое вялое,
 Надо обождать.

Потерпи маленечко
 Все свое вернешь,
 Перепустишь времечко
 Ягоды сберешь.

Год прошел,.. поднялся
 Дерево вполне,
 Ягодой убралось
 И окрепло в пне.

Дедка удивляется,
 Выпучил глаза!
 В яве совершаются
 Ноне чудеса!

Как кажись корежило
 Дерево в тени,
 А на воле ожило,
 Бог его храни...

Этак размышляючи
 Дедка не плошал,
 Время не теряючи,
 Ягоды собирал.

Собрал воз без малаго,
 Вишь ты как налег,
 Сам в телегу чалаго
 Он коня запрег.

Выехал со дворика,
 Денежку зашиб
 Труд его топорика
 Даром не погиб.

Жизнью дед привольною
 С той поры живет
 И про волю вольную
 Внучаткам поет!

В этой песне многое
 Я сказать бы мог...
 Да начальство строгое
 Неказист острог!

Говоря о волюшке,
 Нехотя сболтнешь
 Да и сам к неволюшке
 В лапы попадешь!

Спеть бы эту песенку
 Надо мне тому,
 Кто залез на лесенку
 К небу самому!

Спел бы уж со славою,
 Всех разодолжил!
 Только мелко плаваю,
 Не хватает сил.

По лесу дремучему
 Не найдешь пути
 К барину могучему
 Трудно подойти!

Стая псов откормленных
 Из конца в конец
 На местах условленных
 Стерегут дворец.

С саблями жандармики
 Ходят по пятам...
 Носа и комарики
 Не подточат там.

С речки и луга туман поднимается,
 Лес весь окутался мглой сероватой
 Светлой полоской заря занимается,
 Утренним сном спит окрестность объята.

Только косарь полуночник не спит
 Косу направить к рассвету спешит,
 Звонко стучит по заре молоток:
 Чики чок, чики чок!

Сном лишь богатый да праздный балуется,
 Бедный лишь знает, как дорого время
 Рад ли, не рад, до рассвета пробудится:
 Тяжко хозяйства крестьянского бремя.

Надо зазубрины сгладить в косе
 Косится легче по влажной росе,
 Вот и стучит по косе мужичок:
 Чоки чок чок, чоки чок чок!

Чу! уже ранняя птичка чиликнула,
 Стуком и говором люда встревожена,
 Вторит косарь ей и под нос мурлыкает
 Песню что горем и нуждою сложена

Звонко железо в железо стучит,
 Нервно под звук этот песня звучит,
 Брезжит лениво в костре огонек
 Чики чок, чок, чики чок чок!

Эх полоса ты стальная полосонька
 Стань ты под молотом острая ровная
 Ярче блести разогретая косынька,
 Куплена ты ведь на денежки кровная

Надо бы косыньку было отбить
 Так, чтоб могла она травку косить
 Чисто под самый ея корешок,
 Чики чок чок, чики чок, чок.

Ветром пахнуло, редееет, колышется
 Серый туман до земли опускается
 Звуки за звуками из лесу слышатся
 С первым лучом все ... пробуждается
 Скоро и косу косарь отобьет
 Реже и тише он полосу бьет
 Поднял в последний уж раз молоток
 Чики-чок-чок, чики-чок-чок.

В.М.

Навеянное тоской и дождем

Холодна, угрюма севера природа,
 Что ни день, посмотришь, дождь и непогода,
 Ветры завывают и тоску наводят,
 Ясные денечки изредка приходят.
 Небо вечно в тучах, солнышка не видно,
 Если и проглянет, то смотреть обидно,
 Как на нем без страха облака летают,
 Теплоты и света силу умаляют.
 Не дают земле в досталь обогреться,
 Зеленью убратся, листьями одеться
 Гонит зверя в нору, птицу в чащу леса
 Этих туч свинцовых мрачная завеса!
 Только с человеком не под силу сладить:
 Он, дома и хаты поуспел наладить,
 Кровлю покрыл их и устроил печи,
 Не сидит в потемках, зажигает свечи,
 Вьюгой ли метелью хату всю закроет,
 Он себе дорогу и в снегу отроет,
 Дождь ли непогода ночь всю пробушует,
 А он, сух под кровлей до утра ночует.
 Птица ль замерзает в поле от мороза,
 У него же в хате расцветает роза,
 Канарейки песня звонко раздается,
 Над морозом будто, все кругом смеется,
 Весело в камине огонек пылает,
 Змейками по углям, быстро пробегает,
 С шумом и сопеньем бьют из самовара
 Клубы за клубами бешеного пара,
 У стола за чаем собрались дружно
 Мать, отец и дети, им и знать не нужно,
 Что за зимней рамой в поле, на просторе
 Злой мороз гуляет, причиняя горе.
 Поздним пешеходам, что не с доброй воли
 Допоздна остались в опустелом поле,
 Сторожу ночному у палат богатых
 В обуви убогой, да одних заплатах.
 Бедному вознице с старою лошадкой,
 Что бежить побужкой слабою и шаткой
 По сугробам страшным, торопясь до дому,
 Чтоб в хлеву холодном пожевать солому.

Не придет и в ум им, что совсем без пищи,
 Может быть, бездомный еще бродит нищий
 На ужасной стуже, по сугробам снега,
 Чтоб найти лишь теплый угол для ночлега,
 Что вблизи от хаты, где огонь пылает,
 Бедный горемыка в поле замерзает,
 Ведь до слуха сытых и довольных братьев
 Не дойдет и эха от его проклятий!

Эх Вы люди, люди! Где же делась сила,
 Та, что Вас природа щедро наделила?
 Всю-то эту силу Вы в себе разбили
 Всю поразменяли, всю поразделили:

 По отдельным семьям, по отдельным хатам,
 Всю ее раздали сытым да богатым,
 Позабыв о бедном, слабом, и голодном
 При разделе этом Вашем, благородном!

Чем же Вы гордитесь?... ведь со дня раздела,
 Та былая сила Ваша оскудела!

Вкупе эта сила все свершить могла бы,
 А теперь Вы стали немощны и слабы,

 Те, что были дружны, стали вдруг врагами,
 Часть из равноправных сделались рабами,
 Часть же облеклася ореолом власти,
 Возбудилась зависть, вспыхнули в Вас страсти,

Жаждя только денег, вымысла, разврата,
 Брат со злобой страшной восстает на брата,
 И глумиться будет до скончанья века
 Человек над правом брата человека!

***** Стихи, данные мне с крестом**

Дитя, эмблему искупленья,
 Эмблему полной чистоты,
 Как знак святой благословенья
 От друга, знаю примешь ты.

 Пусть будет вечным он залогом
 Не пыла вспыхнувших страстей,
 А чувства вложенного Богом
 В груди измученной моей.

Надень мой крест дитя на грудку
 И не снимай уж никогда....
 Он сохранит тебя, малютку,
 Такой же чистой навсегда!

 Я дать тебе не в силах счастья
 Меня сломила уж судьба,
 На мне лежат печать проклятья
 И цепи крепкие раба,

Но если волей провиденья
 К тебе придет пора любви,
 Того, кто дал благословенье
 И ты, мой друг, благослови.

В.Марков.

8 Февраля 1879 года.

Звездочкой светлою, чудною
 В жизни моей ты блеснула!
 В долю мою многотрудную
 Ветром весенним пахнула!
 Будто бы птичка залежная
 Песню отрадную спела!
 Спела... и вновь, беззаботная,
 В край свой родной улетела!

Сильно лучи эти бледные
 В душу больную запали,
 Много те звуки волшебные
 Чистой мне радости дали!
 Ночь на душе непроглядную
 Эти лучи осветили
 Долю мою безотрадную

.....

Стал я под их обаяньем
 Выше, как будто, сильнее...
 Грудь, что привыкла к страданиям
 Как-то вздохнула вольнее!
 В жизни моей обновление
 Верить я стал безрассудный!
 Верить... и в то же мгновение
 Сон мой разрушился чудный!

Звездочка, чудно, блиставшая,
 Пала падучей звездою!
 Птичка, мне песню пропевшая,
 Села, над кровлей другою!
 Долго и грустно потянутся,
 Дни мои после разлуки!
 Снова в душе лишь останутся:
 Горе, сомненья и мука.

В.Марков.

Марта 2, 1879 года.

Когда один остался я
 Мне стало тягостно и больно,
 И дума пылкая моя
 К тебе мой друг неслась невольно,
 Среди житейской суеты
 Среди обыденных занятий
 Мои горячие мечты
 Искали дружеских объятий!
 И мне казалось не раз,
 Что вдруг из-за обертки дела
 Мне в очи пара чудных глаз
 С укором дружеским глядела.
 Мне был понятен этот взор
 Я в нем читал в немом смущеньи!
 За что мне выражен укор,
 За что даровано прощенье!

Посылаю тебе то стихотворение, о котором я тебя спрашивал, у тебя его нет, а оно не дурно, я его реставрировал, вот оно:

Солнце, к полдню разгораясь,
Жжет поверхность вод
Надо мною же сплетаясь,
Свили ивы свод.

Позабыв о ловле рыбы,
Замечтался я,
И бежит по водной зыби
Думушка моя.

Мне прохладно, чувством счастья
Грудь моя полна,
И зовет меня в объятья
Вольная волна!

Увлечателен и страстен
Говор этих волн,
Посмотри, как мир прекрасен,
Говорит мне он.

Посмотри, как солнце светит
Как оно горит,
Где не взглянет, что ни встретит
Все озолотит.

Как раскинулся красиво
Этот темный лес,
Поднимаясь лениво
Чуть не до небес

А над ним прозрачной дымкой
Облако лежит,
Ветер будто невидимкой,
Из него бежит.

То по лесу заиграет
Шаловливо он
И тяжелый прерывает
Великана сон,

То по волнам вдруг промчится,
Нарушая штиль,
И на солнце серебрится
Водяная пыль

Разогнал коров из стада
Полуденный зной,
Заманила их прохлада
Под навес лесной.

Как картинно разбрелась
Пестрая толпа...

Чу, над речкой пронеслася
Песня рыбака.

Заломив за спину руки
Он лежит в челне,
И далеко слышны звуки
По живой волне.

С луга скошенного льется
 Сена аромат
 Все вокруг тебя смеется
 Всякий утру рад.

 Позабудь свое ты горе,
 Нам отдай печаль,
 Занесем ее мы в море
 И забросим вдаль

И волны той чудный лепет
 Все напомнил мне
 И давно забытый трепет
 Пробежал в душе.

 Жду от моего маленького цензора отзыва, а до получения этого отзыва делаю ему назло то, что он редко позволяет, т.е. целую его ручки и остаюсь глубоко любящим и уважающим его дедушкой Владимиром Марковым. Книгу передал Кате через Барсова. С ней я хотел ехать в Смоленск.

Эх ты, бездольная жизнь одинокая,
 Полная вечных тревог,
 Словно как степь растянулась широкая
 Ты без пути, без дорог!

 Все пред глазами равнина бесплодная,
 Сколько вперед ни глядишь!
 Та же мертвящая, та же холодная,
 Та же беззвучная тишь!

Травы лучами горячими выжжены,
 К самой земле прилегли,
 Нет ни кусточка, ни горки, ни хижины,
 Даже и в самой дали!

 Как и куда мне идти бесталанному
 Новый отыскивать след,
 К тихому крову, приюту желанному,
 Коли дороги к ним нет?

Я говорил с тобою.... звуки
 Твоих речей еще звучат,
 Еще я чувствую как руки
 Твои в моих руках дрожат.

 Ты мне привета не сказала,
 Но я подслушал: как в груди
 Твое сердечко трепетало
 От чувства вспыхнувшей любви.

Я как ребенок беспечный
 Был счастлив чувству своему,
 И новый мир, мир бесконечный
 Открылся сердцу моему.

 Но счастье только на мгновенье
 Блеснуло, видно, предо мной,
 Твоя любовь, как сновиденье
 Дала минутный лишь покой!

Ты уезжаешь в путь далекий
 Один я остаюсь вновь,
 Теперь вдвойне уж одинокий
 Тебя теряя и любовь!

В.Марков

Сердце бьется так тревожно,
 Ум теряется в сомненьи!....
 Счастье, кажется, возможно...
 Но увы, лишь на мгновенье!
 Только в миг безумной страсти,
 Только в миг очарованья,
 Когда ум лишится власти,
 Счастья явится сознание!

Но пройдет лишь миг подобный,
 Отрезвишься лишь немного,
 Каждый шаг твой ум холодный,
 Поглядишь, осудит строго.
 И для каждого движенья,
 И для мысли и для слова
 Уж иное объясненье
 У него всегда готово.

Не дает он сердцу власти,
 Гонит счастья улыбку,
 И невольно в своем счастье,
 Подмечаешь ты ошибку!
 И рассудок беспощадный
 Говорить начнет сурово:
 Что любви поры отрадной
 Не могу вернуть я снова!

Что я отжил свое счастье,
 Свою юность безвозвратно
 И святой любви объятья
 Не верну уже обратно!
 Для чего же сердце вечно
 Шепчет мне совсем другое
 Чтобы верил я беспечно
 В свое чувство роковое,
 Чтоб без дальних рассуждений,
 Я ему вполне отдался,
 Чтоб от сладостных мгновений
 Никогда не отрезвлялся!
 И зачем душа страдает
 И не знает кому верить?
 Кто из двух пред ней желает
 Ум иль сердце лицемерить?

Никто не желает лицемерить, ум всегда суров и трезв, сердце всегда мягко, надо смягчить первое вторым и наоборот второе первым и получится золотая середина.

"Дедушка" и впоследствии нередко умолял меня не пугаться страсти и уверял меня, что в этом чувстве может вовсе не быть той грязи, против которой я так грозно восстаю. Не верила я этому и ретиво спорила, но однажды мне действительно пришлось убедиться, что побежденная волею страсть действительно не имеет ничего грязного, а человек, умевший победить ее невольно вызывает и уважение, и сострадание, и благодарность, и расположение.



Помнится, как-то зимою жена "**Дедушки**" (*Дорошенко Анна Александровна - 1851-1919- фото*) квартировала на Васильевском Острове и взяла к себе старшую дочку свою. Собравшись как-то на день или на два в деревню, она просила меня побыть с ее девочкою и переночевать у нее в квартире. Я согласилась и перебралась. Вдруг, гляжу, вечером приезжает "**Дедушка**" из имения, куда прибыла его жена и останавливается тут же. Дружески проболтав весь вечер,

мы разошлись, я поместилась в спальне его жены вместе с маленькою Олею 9 лет (*Ольга Владимировна Маркова, в замужестве Ольденборгер - 1871-1964 - фото рядом*), а В.П. рядом в зале. Скоро няня, я и Оля крепко заснули, но через несколько часов я проснулась от тихого какого-то странного повторения своего имени. Я невольно откликнулась и тогда уже не могла избавиться от мольбы позволить "**Дедушке**" войти.

"Я так страшно страдаю, позволь ради Бога войти на одну только секунду". Голос "**Дедушки**" был до того ужасен, что под влиянием твердой уверенности в себе и невыразимой жалости, охватившей меня я позволила. И не забыть мне этого человека 40 с лишком лет, рыдавшего как ребенок, у кровати стоя на коленях. Минут через пять, выплакавшись, он перекрестил меня и, сказав: "спи спокойно, дито мое чистое", вышел.

На следующий день я невольно остановилась перед окном небольшого магазина, где увидела маленький образок "**Покрова Божией Матери**". Эта находка именно теперь удивила меня. С тех пор, как я дала обещание, и Промысел Божий указал мне на эту икону, я очень хотела иметь таковую, но, бывая в обеих столицах и у Троицы-Сергия, никак не могла найти готовое, небольшое изображение "**Покрова**". Так, что в настоящую минуту я поспешила выменять образок и подумала: видно Царица Небесная ограждает меня от всякого искушения и зла своим **Покровом**.

1880

Наступило 3-е Февраля (1880) - день моего рождения. Мне кончалось 25 лет, хотя с виду никто не давал мне более 18. Я не любила этот день и никогда не праздную его, но, проживя 1/4 столетия, считала долгом отдать себе мысленно отчет в пройденном пути, и результат получился до того отраднй и безупречный, что мне невольно захотелось отпраздновать 1/4 своего века. И действительно, позади было уже немало побежденного горя, немало было перечувствовано, немало завоевано, немало предпринято в будущем, а сама я выглядела еще столь юною, сохранилась столь чистою и невинною, как будто суровая рука жизни и не прикасалась еще ко мне.



Не мудрено, что такое сознание делало меня счастливою, благодарною Господу, и в то же время гордою собою. Было чему порадоваться!

И вот, заняв на один вечер меблированную комнату, я самостоятельно пригласила туда небольшой кружок знакомых и родных, вполне подходящий для веселой компании. Здесь был брат Поль, кузина моя (*Надежда Платоновна Вакар*) со своим женихом **Акимовым** (*Акимов Иван Павлович - 1858-1894 - фото*), студентом Путей сообщения и его товарищем **Капустиным**, "**Дедушка**", одна педагогичка, **Фидарович** и две малороссиянки-курсистки, **Левицкая** и жена Михаила Михайловича Вороновского, брат жены "**Дедушки**" **Дорошенко** (*Дорошенко*

Николай Александрович - 1857-1898) - искусный ныне поэт и чтец, и **Михаил Михайлович Вороновский-меньшой**, что любил насмехаться (*Вороновский Михаил Михайлович - 1856-1918 - доктор медицины, идеолог народничества*). Он был на медицинском факультете и успел жениться. Сам же Михаил Михайлович обещал, но не пришел. После скромного десерта компания моя развеселилась, начались декламирования стихов, Дорошенко привел всех в восторг, сказав "Грешницу" Толстого. Потом затеялся хор пения русского и малороссийского соло. Все были оживлены, довольны и веселы, так, что едва к трем часам разошлись. И памятен был для меня этот день. Дай Бог с таким чувством довольства нравственного отпраздновать когда-нибудь 50 лет свои. В.П. пригласил всю мою компанию к себе в деревню, и, пользуясь праздничным днем, мы ездили туда, катив со станции Тосно на лошадях при луне, а когда вся наша вереница въехала в лес, то "Дедушка" стал неожиданно освещать его бенгальскими свечами. Вообще было весело.

Теперь расскажу, как познакомилась я с женою Михаила Михайловича Вороновского. Родители его как-то долго не получали от него писем и просили меня отыскать его, прислав адрес. Я отправилась, но каково же было мое удивление, когда в его крошечной квартирке я нашла какую-то барыню, называвшую его Мишею. Скоро оказалось, что это его жена. Она очень ласково отнеслась ко мне, говоря, что много слыхала про меня, и как бабенка с длинным язычком, который не укорачивается и от слушания лекций, поспешила сообщить, что Владимир Михайлович без памяти влюблен в ее подругу **Лизу Огареву**, просто, говорит, с ума сходит, ползает перед нею как собачка. Сперва я думала, что она поделилась только со мною этой тайною другого, чужого, но близкого мне человека. Какого же было мое удивление и озлобление, когда в бытность всей нашей компании в деревне у Маркова, эта ученая сплетница доносила то же жене "Дедушки", видя ее в первый раз.

Однако я не переставала бывать у молодых Вороновских, мне приятно было смотреть на их счастье, у них бывал и "Дедушка". Встречаясь с моим первым другом, видала я и свою соперницу, но в то же время не раз давала заметить Владимиру Михайловичу, что отдаю предпочтение "Дедушке", а сама иногда думала, что если "последний вулкан" только зажжет меня, пробудив во мне женщину, тогда друг мой не назовет уже меня "рыбою", и, может быть, не почувствует того холода, который выгоняет приезжих с "нетопленных станций."

В марте (1880) я перебралась в Смоленск и довольно рано уехала на дачу, где поселилось также одно симпатичное семейство **Мих-х**, знакомое Вороновским (у них зимою жил их меньшой гимназист Саша). Семейство Мих-х состояло из матери-женщины средних лет, дочери лет 26-ти, двух небольших гимназистов и их репетитора - студента первого курса некоего **Давыдова**. Последнего я просила помочь мне подготовиться к экзамену. Мы начали заниматься серьезно. Давыдов был лет 20-ти, высокого роста, довольно красивый и мужественный юноша, которого отнюдь не портили рыжие волнистые волосы. Странное дело, с тех пор как я узнала возможность истинно дружеских отношений между мужчиною и женщиною, сохраняя дружбу с Владимиром Михайловичем 5 лет, и видя, насколько мужские страсти безопасны для меня (по опыту с "Дедушкою"), я стала еще доверчивее, еще спокойнее относиться к мужчинам, если таковые искренно и прямо выражали мне свою симпатию, как хорошему человеку вообще.

Право, люди в высшей степени интересовали меня, мне хотелось сблизиться с каждым порядочным человеком, узнавать его внутренний мир и приобретать таким образом опыт в знании людей. Интерес к человеку возбуждался во мне независимо от его пола. Семейство Мих-х скоро сблизилось со мною настолько, что даже скучало, если я уезжала в город на целый день. Однажды, помню, не видел меня целые сутки, все до того обрадовались при неожиданной встрече, что все, не исключая Давыдова, точно родные бросились меня целовать, благодаря за исполненное мною обещание и приезд, несмотря на проливной дождь и грозу.

Просто и весело текла таким образом наша жизнь, и лишь под конец лета Давыдов стал удивлять меня своими фантазиями. Во время обычных занятий он в один прекрасный день заговорил со мною о Вор-х, стал подсмеиваться над моим чувством, о котором слышал и недоумевал перед столь продолжительным постоянством. Не веря этому, он предложил мне, спустя еще некоторое время, вопрос о том, люблю ли я его? Когда я ответила отрицанием, то Давыдов просил меня хорошенечко подумать, прежде чем так уверенно отвечать. В эту минуту я торопилась в город и потому не стала затягивать беседу, а только недоумеваю, что сей сон значит, действительно призадумалась, не понимая, чего ради человек врывается в чужую душу и приписывает ей совершенно несуществующие чувства.

Ответив Давыдову еще раз "нет", я решила что мужчины, вероятно, не могут понимать простых дружеских отношений к ним женщины и везде ищут сентиментальной подкладки. (Кроме того, лишь теперь сознаю, как гадко держал он себя при мне, валяясь по дачной свободе на траве и доводя себя искусственно до мерзких волнений. Ну да Бог с ним). Я переехала в город, а к половине августа была уже в Питере, где остановилась во вдовьем доме у Тети-Мамы, так как дядя был еще на даче, а я не хотела нанимать квартиры, пока не удостоверюсь в возможности поступить в "Учительскую школу" где, кажется, на 30 вакансий было 150 экзаменуемых.

У дяди жить я вообще не располагала, во-первых, потому, что не слыхала на сей раз приглашения с его стороны, во-вторых, хотела поселиться поближе к нашему заведению на Васильевском острове. Впрочем, инстинктивно предвидя насколько под родным кровом безопаснее жить в столице, я просила перед отъездом Матап свою, не позволит ли она мне нанять комнатку в ее огромном доме. Он был очень близко от Дворцового моста, а, следовательно, и от Васильевского Острова, тем более, что наше заведение находилось на половине 1-й линии в переулке. Но Матап и слышать не хотела: "страшно, мол, давать приют нигилистам".

17 августа я отправилась на экзамен. Что это был за чудный для меня день! Никогда не забуду я того трепетного чувства, с каким слушаешь чтение фамилий принятых по экзамену. Еще до сих пор в моих ушах звучит фамилия Вакар, точно произнесенная как-то особенно нашим инспектором. Со всех сторон посыпались поздравления, и я, что называется, земли под собою не чувствуя, помчалась делиться своею радостью с дорогой, во всем сочувствовавшей мне, Тетею-Мамою. Однако, по дороге забежала посмотреть несколько меблированных комнат. Внимание мое конечно остановилось на более простеньких и дешевых, но в тоже время, встретив свою бывшую гувернантку, жившую теперь в Питере, я увлеклась вместе с нею взглянуть на меблированные комнаты, отдававшиеся в роскошном огромном доме на 1-й линии.

Сперва мы заглянули во II этаж. Там поразила нас роскошная обстановка прелестной комнатки, отдававшейся за 21 р. в месяц, но только холостым. Это условие, сказанное набеленною, разодетою в шикарный пеньюар хозяйкою, невольно вызвало улыбку с нашей стороны. Потом оказалось, что эта барыня не забыла меня и сочла за нигилистку-студентку. В третьем этаже обстановка была очень миленькая, стоял к моему удовольствию даже рояль, но все было несравненно проще, и на выбор предлагалось три помещения. Самая сходная из комнат ценилась в 16 рублей. Хозяйки не было дома. Сказав, что для меня одной это дорого, я хотела уйти, но прислуга просила зайти на другой день. Это вторичное посещение привело к тому, что любезная солидная хозяйка очаровала меня. Она оказалась неутомимой труженицею, служившею при телеграфе и, кроме того, преподающею уроки английского, французского, немецкого языков и музыки.

Целыми днями она не бывала дома, и потому она предложила мне занять с нею вместе, так как одной мне дорого, две комнаты. И в конце концов оказалось, что в моем распоряжении будет прелестная приемная, рояль, обед, чай, стирка, - все это за

16 рублей в месяц. Баснословное счастье, имея 25 рублей ежемесячно, так выгодно устроиться в столице. Но разгадкой этому служила просьба наблюдать, пока я буду дома, за прелестною 5-летней девочкою. Тетя-Мама была в восторге от моих успехов, и скоро я перебралась на новоселье, где, по случаю пустующих комнат, заняла пока совершенно отдельную и была очень довольна. Занятия шли отлично, воспитанницы наши были такие милые девушки, лекции мои все были в порядке и переписывались другими на расхват.

В клинике

Изложив все предыдущее, я могла бы для дальнейшего ознакомления с моею жизнью предложить мой небольшой дневник или, лучше сказать, громадное послание, написанное кузену моему Феликсу в Смоленск, касающееся всего двух недель необычайного столкновения разных случайностей. Но прочитав его теперь, я нашла описательную форму дневника до того утомительною для чтения по своей совершенно лишней распространенности и мелочной подробности, что предпочитаю вкратце повторить тяжелый для меня рассказ. И лишь для большего впечатления прибавлю 5-ю последнюю тетрадошку дневника. Теперь же, вновь перечитывая, жалею, что уничтожила подробности, читанные, впрочем, кузиною моею **Любою Лотрек**, писанные сейчас же после страшной драмы.

Прошло недели две. Многие смотрели комнаты в помещении моей хозяйки, но не нанимали. Наконец, явилась группа из 3-х студентов и, взяв обе, заставила меня перебраться в действительно принадлежавший мне уголок. Увы, после этой перемены кончился мой покой: во-первых, на крошечном диванчике в гостиной было очень неудобно спать, во-вторых, студенты, оказавшиеся евреями, кричали и говорили без умолку до поздней ночи, не давая мне в смежной комнате заниматься, а утром вставали в 7-8 часов. Лекции мои невольно запускались день за днем. Ни переписывать, ни учить их было некогда, являться же в класс профаном было для меня невыносимо. Не имея времени учиться, я, тем не менее, имела его для того, чтобы поехать к Тете-Маме, или к семейству дяди, переехавшему с дачи, поделиться накопившимися неудачами и впечатлениями.

Я не спала по ночам, придумывая средства помочь горю и долго их не находила. Наконец, блеснула мысль просить нашего инспектора разрешить мне оставаться в зале класса вечером для занятий. Уважив высказанную мною причину, **Рашевский** позволил мне это. В восторге от удачи ходатайства я в несколько дней усидчивых занятий догнала все упущенное и счастливая тем, что преодолела главное, спокойно стала спать, несмотря на все неудобства, и уже собиралась воспользоваться 2-мя праздничными днями, чтобы навестить родных и рассказать им все. Но 8 сентября, возвратясь от обедни, я нашла и хозяйку и горничную нашу в горе. Оказалось что последняя огорчена циничным преследованием ее жильцами-студентами, а первая - произведенным беспорядком, вследствие этого, даже в наших комнатах во время нашего отсутствия.

Возмущенная этою историей, я сочувствовала хозяйке и ее желанию выгнать таких жильцов, но где найти лучших для пополнения дохода, приносимого ими? В то время, когда я искала исхода из своего неудобства, мне уже приходила в голову мысль, что если бы только позволили средства, то я выжила бы соседних студентов и наняла бы комнату для себя, а хозяйкину спальню для Поля, который, ведь, собирается переехать. И мне случалось уже при внезапных появлениях его у дяди, где постоянного помещения ему не давали, даже ночью, часов в 11, бегать по соседним квартирам и искать ему приюта хоть на ночь, так, что однажды я наткнулась среди этих поисков на пьяную компанию. Не лучше ли было теперь, пользуясь обещанием Матап, платить мне (кроме 25 р.%) 20 р. в месяц за занимаемое ею помещение в моем доме, употребить эти неожиданно предлагаемые средства на успокоение брата, достигая

этим возможности выполнить 1-ю заветную цель свою, тем более, что хозяйка готова была при подобном плане на уступки, да и сам Поль, вероятно, не отказался бы вносить лепту. Сказано и сгоряча сделано. Я послала Полю телеграмму, чтобы останавливался прямо у меня, когда приедет, и в то же время осведомлялась о том, все ли у нас благополучно, так как давно не имела известий, а по слухам дом подвергался поджогам.

Кто знает меня хорошо, тот только может судить, насколько такой душевный, заветный и неожиданно проявившийся план взбудоражил эксцентричную душу. С телеграфной станции я зашла к одной из учениц нашего заведения, некто **Клоковой**, обещавшей помочь мне по геометрии. Я пришла к этой девушке в 1-й раз. Домашняя сфера ее поразила меня не менее, чем и сама М. Клокова. То была 15-летняя девушка, принятая в наше заведение по особому ходатайству, так как в 15 лет туда не допускали, но по своей деятельности и физиономии она далеко казалась старше. С 9-ти часов утра она уходила на уроки до 1-го часу, потом до 6-ти - к нам в училище на лекции, с 6-ти до 11-ти вечера - опять на уроки. Своим трудом она содержала отца и мать.

Первый был еще не стар и повел со мною до того мистический разговор, что при первой встрече я приняла его за помешанного и сочла это причиной его праздности. Но потом Клоков оказался премилым стариком, лишившимся места по какой-то скрываемой в семье причине. Мне так понравились эти простые радушные люди, что я невольно подумала, как счастлив мог бы быть Поль среди такой семьи, и фантазия унесла меня далеко. К дяде я пришла только к обеду и, конечно, не успела поделиться массой своих впечатлений и запутанных новостей: во-первых, потому, что после обеда мы все отправились на музыкальный вечер к учителю моих кузин, во-вторых, я встретила там с "Дедушкой", который был в каком-то шутовском настроении и все дразнил меня, остря на каждое мое слово и не давая ничего рассказать.

Вечером мы вернулись поздно, да и потом мне не пришлось удобно и покойно выспаться у дяди, потому что дяде ночью сделалось дурно, и я за ним ухаживала. Послушав хорошей музыки и пожурировав несколько в свободные деньки, я увлеклась до того, что вздумала пригласить к себе на новоселье (9-го вечером, благо, это было воскресенье) "Дедушку", кузину Надю с женихом, Давыдова, живущего студентом в Питере и уже женатого, и **Лидина** (*Лидин Иллиодор Васильевич - музыкант, валторнист Панаевского театра, друг Георгия Петровича Маркова*), восхитительно игравшего накануне на валторне. Он навсегда уезжал из Питера.

Моя хозяйка очень любила музыку, и мне хотелось всем доставить удовольствие, но вот беда: дядя Пл. Алек. вдруг объявил, что он не пустит ко мне "Дедушку", так как у него тоже будут гости, а без него не состоится партия. "Что тут делать?" - подумала я, посоветовалась с "Дедушкой", взяла, да и пригласила к себе дядю Пл. Алек. вместе с его важным для меня гостем Рашевским. Последний согласился быть у меня, следовательно, надо было спешить все устроить как следует, т.е. приготовить чай, купить хоть арбуз, да каких-нибудь сладостей, но мне хотелось теперь помолиться, потому что я обещала, когда устраюсь, побывать у Спасителя в домике Петра Великого, чтобы перед этою чудотворною иконою поблагодарить Господа за его милосердие ко мне.

Горячо помолилась я в этот день, молебен отслужили очень хорошо, но что больше всего поразило меня, так это слова "Нечайная радости", сказанные старицею-монахиною. Молясь в эту минуту за Поля, я даже вздрогнула, и, видно, очень была взволнована, если не могла удержаться от слез. Возглас был сделан монахиною, которая собирала пожертвования на икону Божией Матери, называемую "Нечайною радостью". До этого времени я никогда не слыхала о существовании подобной иконы. Возвратясь домой со скромными покупками, я стала убирать комнаты и вышла на лестницу распорядиться, чтобы ее вымыли, так как накануне белили стены и все

запахали. "Успеешь ли вымыть?" - спросила я работавшую женщину. "О, конечно", - ответила она, с чем я и согласилась, прибавив: "впрочем, эти-то белила скоро смоются, а вот как на лице заведутся, ну так те - не скоро смоешь". Фразу эту я скорее обратила к своей прислуге, чем к мывшей бабе, потому что еще недавно у нас с ней шел разговор о квартирантке 21-го №, которая любит холостых. Но в настоящую минуту горничная моя сделала мне знак, чтобы я замолчала, так как на пороге 21 № появилась в это время горничная г. **Ерлыковой** (так прозывали набеленную).

Я замолкла и ушла. Суется дома, познакомилась со своими нахальными соседями-студентами, один из них назвал себя: Соломоном Поляк, другой Давидом Бетгиль (видно, жид), и только третий, живший отдельно за кухню, был некто Сергей Бессмертный. Экие все звонкие прозвища! Подумаешь. Кроме того, первый сострил невесть для чего, сказав после рекомендации, что "и он, подобно Соломону, занимается анатомией: режет пополам, но только не детей, а женщин". Странными казались мне эти люди... Перекидываясь с ними фразами, я спросила, знают ли они некоего еврея-литератора **Линев** (*Линев Дмитрий Александрович - 1853-1920 - псевдоним Далин*). Они ответили, что да, но восстали против слова еврей, поясняя, что Линев крещен. Тогда я поймала их на эту удочку, доказав, что, значит, они верят в крещение, если не признают уже за еврея крещеного.

Подобные ловушки завлекали их и заставляли говорить мне комплименты. Наконец, все было готово, не хватало только стола, обитого сукном, для карт. Мне пришлось пойти к швейцару просить, чтобы он достал стол на один вечер у кого-нибудь из квартирантов в доме, но швейцар сказал, что мне самой скорее дадут, и указал на мою соседку 21-го №. Не хотелось мне идти, однако, не зная еще тогда о ее мнении обо мне и видя, что терять время некогда, я позвонила в 21-й №, но когда дверь отворилась, и я выразила горничной свою просьбу, то вслед за нею появилась сама хозяйка - бледная, обозленная, и сразу засыпала меня площадною бранью: "мерзавка, необразованная, как смеешь ты приходить, и какое тебе до меня дело!" Она продолжала в том же духе, несмотря на мой спокойный тон, которым я хотела пояснить, что ни в чем не виновата.

Возмущенная этой неожиданной неприятностью, я выразила свое неудовольствие швейцару и достала уже стол в 30-м № у других милых соседей своих. Однако, в ту минуту, когда собирались гости, я узнала что М. **Ерлыкова** хочет подавать на меня жалобу мировому судье. Сообщать все это прибывшим и усаживавшимся немедленно за карты было некогда, следовательно, они совсем не были посвящены во все мелочи моей жизни. Предоставив гостей самим себе, т.е., усадив кого за карты, кого за рояль, я ушла в кухню разливать чай и готовить десерт. Студенты, стоя на пороге своей комнаты разговаривали со мною. Мне было смешно, что в собравшемся у меня обществе были всевозможные национальности: хозяйка - англичанка, ее племянница - немка, дядя - католик, Рашевский и другие - русские. Еще пришла одна дама - француженка, недоставало только евреев, впрочем и те были за стеной. Вот по этому поводу я и сострила, но студенты говорили, что их нельзя причислять к этой национальности, что они и не пойдут, а вот если бы длиннополого привести, так был бы эффект, ну так такого не достанешь!

Я вздумала спорить, так как у меня была знакомая жидовская лавочка, и я могла бы попросить швейцара сходить туда и прислать мне через жиденка хоть лимон. Он явился бы в передней, и цель была бы достигнута без нарушения гармонии в гостиной. Поэтому, отправив поднос с чаем в гостиную, я решила добежать до швейцара, чтобы попросить его о вышеизложенном, но в моем коридоре натолкнулась на г. **Лидина**, который, держа свой вальтгорн в руках, вышел покурить и объявил мне, что играть по недостатку резонанса в комнате не может. Я принялась упрашивать не лишать всех этого удовольствия и просила его взять хоть несколько нот, что Лидин и исполнил, забыв, что уже 11 часов вечера, и мы стоим в коридоре, куда выходят много квартир. Можно себе представить переполох в каждой из них от

внезапного трубного звука в 12-м часу ночи, но и картина от этого вышла эффектная! Точно по звонку все двери в анфиладе коридора отворились, и в каждой из них появились фигуры любопытных самого разнообразного вида. Тут были и старушки, и женщины, и мужчины, кто со свечой, кто без нее. Я невольно расхохоталась вместе с Лидиным и сострила: "что вот, мол, по его трубному гласу собираются все племена земная".

Однако, вспомнила о своем намерении послать в лавочку, пока ее не заперли до 12 часов, и поэтому, сказав Лидину, что я сейчас приду, стала быстро спускаться в кухню и даже не накинула платка на свой русский костюм (надетый, как нарочно, первый раз в жизни). Между тем, трубный звук достиг и ниже, до 21-го №. Там тоже отворилась дверь, и "набеленная", увидав, как я быстро спускалась с лестницы, вообразила, что я нигилистка и хочу убежать. Поэтому, недолго думая, она командировала вслед за мною свою горничную, которая, опередив меня, очутилась раньше не только около швейцара, но даже на улице, крича во все горло, "чтоб не пропустили нигилистку-студентку".

Можно судить, каково было мое положение! Я до того перепугалась от неожиданности и опасности всего этого скандала, что вся дрожала и, очутясь в большом стеклянном антре, освещенном газом, где был швейцар, не могла не только что объяснить толком эту путаницу, но даже не в силах была сдвинуться с места. Я прислонилась к выходной двери, где стоял швейцар, а снаружи ревела толпа народа, просила у первого: "воды, воды....". Но он не двигался с места. Наверху, конечно, ничего не знали, а я уже вся дрожала. Вдруг, напор сильной руки раздвинул любопытную толпу и отворил дверь так внезапно, что меня невольно толкнуло на входившего, тот вздрогнул и сам точно растерялся, однако довел и посадил меня на деревянный диван, стоявший тут же. Потом, должно быть, приказал подать воды, так как довольно скоро после его прихода мне принесли стакан. Выпив его залпом, я разглядела ту личность, которая помогла мне несколько успокоиться, а в сущности спасла от необузданной толпы и, может быть, от самых ужасных последствий, возникающих так легко в наше смутное время.

Это был господин маленького роста, некрасивой наружности и вообще ничем не выдающийся, но я сразу почувствовала к нему бесконечную признательность и натурально хотела знать, кто он такой. Поэтому, прежде всего я спросила его имя. Незнакомец поразил меня своим замешательством и странным ответом: "не знаю". Я попробовала испытать его собственными догадками, спрашивая: не живет ли он здесь, не исполняет ли какую-нибудь должность в доме? Но, услышав на все одно загадочное "не знаю", совсем недоумевала и, наконец, невольно высказала промелькнувшую мысль: "Так, кто же вы? Уж не агент ли тайной полиции?" Не получив ответа, решила, что кто бы этот человек ни был, он должен проводить меня до моей квартиры, о чем не замедлила попросить, заявив что живу в 25-м №, где у меня в настоящую минуту собрались родные и знакомые, но вспомнив про это, я тут только сообразила, каково будет удивление последних при нашем появлении, и как трудно будет им понять все случившееся.

В действительности же вышло еще хуже, так как разъяснение пришлось сделать не мне, знавшей все детали скандала, а г. Ерлыковой, которая не утерпела и раньше поспешила со своими сплетнями, объявляя, что будет жаловаться мировому судье. Тогда Владимир Петрович догадался немедленно рекомендоваться таковым и осадил ее, предложив свои услуги. Другие же, не понимая, как могло все передаваемое в искаженной форме случиться, не замедлили признать меня больною и успокоили этим мнением Ерлыкову, а сами отправили за доктором. Между тем, я поднимаюсь по лестнице под руку с незнакомцем. Акимов и Давыдов встретили меня и хотели освободить от него, но подобное вмешательство, конечно, показалось мне неудобным. Натурально я не допустила его и вместе с незнакомцем вошла в свою квартиру.

Лица и странные отношения к нам всех находившихся там родных (так как кроме Давыдова все посторонние поспешили разойтись), сразу ошеломили меня, дав постигнуть их взгляд на все случившееся. Однако, я все-таки поспешила рекомендовать вошедшего незнакомца как своего "спасителя" и защитника. "Другого имени не знаю", - пояснила я. Но окружающие вытаращили глаза еще больше и вообразили, что я считаю незнакомца за "Спасителя-Христа". Такая странная непонятливость заставила меня улыбнуться, и невольно мне вспомнился трубный глас Лидина, собравший всех жильцов. К сожалению, Лидин, единственный свидетель этой потехи, уже ушел, и поэтому нехоти выказанное мною воспоминание принято было тоже за бред.

По всей вероятности незнакомца тоже успели уверить, что я больна, так как его отношение и разговор со мной были более чем странны, или, может быть, это был какой-нибудь спирт, желавший как-нибудь особенно влиять на меня. Но, дело в том, что столкновение с этой загадочной личностью сбilo меня совсем с толку и дало еще больше пищи подозрениям окружающих, так как незнакомец, сперва на все мои вопросы отвечал "не знаю", потом стал говорить аллегорично или неясно. Так, например, на вопрос, почему у него кривые пальцы, ответил, что "много работал", на вопрос где живет, - в 24-м № этого дома". Кроме того, во все время разговора и, как бы желая успокоить, он гладил мои волосы, расплел их и хвалил. Когда же он хотел уходить, то я удержала его, во-первых, потому, что желала добиться и узнать кто он, а во-вторых, боялась, что после его ухода меня куда-нибудь упекут.

Тогда он успокоил обещанием, что опять придет, и пояснил причину отлучки весьма разумным долгом: о необходимости его помощи для других, которые его ждут. А на вопрос мой: "когда же он снова придет?" - ответил: "тогда, когда эти волосы станут серебряными". При этом, он как-то особенно гладил мои волосы, потом мои руки, проводя по каждому пальцу моему особо, и наконец, попросил раскрыть рот и дотронулся до моих зубов. Трудно поверить всему этому странному обращению, но я готова присягнуть, что все это действительно так было. В заключение, мне пришло в голову, во-первых, испытать незнакомца каким-либо мудреным вопросом, и во-вторых, заметив у него на четвертом пальце хорошенькое колечко, с заднею мыслью опросить его и, разыскав потом незнакомца по кольцу, узнать кто он.

В первом случае я поступила так: указав на образ, я спросила его: "Скажите пожалуйста, если Вы так таинственны, как можно уяснить себе единство Пресвятой Троицы?" "Очень просто", - нимало не затрудняясь, ответил мне: "Вот здесь горят три свечки, оставьте их до утра и вы заметите, что они все станут едины (газ), но в то же время и невидимы". Что касается до колечка, то незнакомец жалел отдать "будто бы материнское", однако предоставил взять, если сама сниму. Это было для меня невозможным, но потом я заметила, что он сам потихоньку надел его на маленький палец, и я сняла эту память.

Приходившего доктора я попросила уйти, объявив, что ему более, чем кому-либо другому трудно понять в чем тут дело. Из родных потом я также никого не видала, должно быть вдоволь поморочила их. Незнакомец убедил меня выпить какие-то капли вместе с ним, чтобы я не боялась принять, и потом уговорил лечь спать, а сам ушел. Когда я легла, не раздеваясь, на диванчик, ко мне пришел "Дедушка". До этой минуты он не появлялся, да и теперь казался убитым и ничего не говорил. После я узнала, что он в первый момент от испуга не мог даже шагу сделать. Во всем бедняга обвинил себя, считая, что я нервно расстроилась под влиянием его горячего отношения ко мне. Впопыхах, он даже потерял 50 рублей.

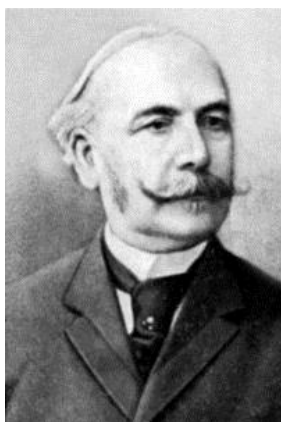
Утомленная, а может быть, и под влиянием сонных капель, я тотчас заснула и проснулась уже в 10 часов утра, когда ударили к обедне. Сознание всего вчерашнего привело меня в ужас.... Я помолилась со слезами.., но что же делать потом? В квартире не было никого и ничего кроме хаоса разбросанных вещей. Все испугались и все испарились. Идти на лекции? - и рано и невозможно показаться на глаза Рашевскому.

Я решила отправиться в церковь, но о ужас, горничная не выпустила меня... Значит родные бросили и заперли.. Спасибо! Но что же делать? Употребить силу? Да ведь это еще хуже...

Я покорилась своей участи, но положение мое скоро стало невыносимым, потому что в квартиру стали приходиться дворники и разный сброд, чтобы посмотреть на меня! На живую-то, сознающую весь этот ужас, как на покойницу, либо сумасшедшее чудовище! Спасибо! Нечего сказать. Я даже выразила это должное спасибо, дав на чай какому-то дворнику. Он заслужил, показав мне себя как зрителя, мною мертвою заинтересованного. Через час или полтора приехали кузен Саша и Давыдов. Как ни хотелось мне рассказать им, разъяснить всю путаницу, но это было невозможно, потому что все мои слова принимались, видимо, за бред. И повезли меня хитростью даже не туда, куда я просила, а прямо к дяде. Давыдов, черт знает чего, корчил из себя холостяка, так что я разозлилась на всеобщее странное отношение ко мне и стала отвечать им тем же.

Для примера расскажу, как кузен Саша убеждал меня лечь спать уже у них в квартире вечером: "Давай-ка изобразим с тобою, лежа, две позы, - ты греческую, - а я римскую". Не менее курьезен ответ дяди Пл. Ал. Ночью, когда я проснулась услышав около себя какой-то странный звук трения, спросила, что это такое? Дядя сказал: "Это я, душенька, точу палец разума о стеклышко данное твоим отцом" (дорого, что дядя сам ночью сидел около меня). Но, Боже, что за хитроумное сочетание слов и подходящ ли этот запутывающий смысл язык, даже в том случае, если он применяется к действительно больному? Мне кажется, тогда-то ясность, прямота и простота разговора важнее всего. Впрочем, потом я узнала, что дядя в минуту ответа пилил себе ногти каким-то стеклышком, взятым прежде у отца моего.

Можно судить, до какого состояния довело меня такое неумелое обращение. Я начинала либо злиться на каждого, либо отвечала фразами столь же хитроумными, и теперь не могу себе этого простить. Но тогда во мне была какая-то двойственность, т.е., и сознание своего положения, и неумение выйти из него. Кончилось тем, что к следующему вечеру мне привезли сестру милосердия, а на другое утро дядя надел свою звезду, важно повез меня кататься в карете и, несмотря на мольбу завезти к Тете-Маме, отвез в больницу. Я чувствовала куда меня везут, и с отчаянья было вырвалась на пути из кареты, у квартиры **Постемского** (художника) (*Постемский Савва Васильевич - 1825-?*), где жил когда-то брат Поль, и его там понимали. Но меня хотели связать на улице и посадить, чего я, конечно, не допустила..... Жаль только, что в эту минуту не было здесь настоящего человека. Мне кажется, что, понимая все мое мучение, можно было бы безжалостно избить тех, кто мучил меня, подобно услужливому медведю (Крылова).



Скоро "звезда" всеильная повлияла на **Мержиевского** (*Мержеевский Иван Павлович - 1838-1908 - профессор, один из основоположников русской психиатрии, фото*), и я немедленно была принята, выдержав допрос врачей: "Кто я? Сколько лет? Зачем в Питере?" и т.д. Дав удовлетворительные ответы, удостоилась помещения отдельного и удобного в отделении смиренных. К обеду дождалась даже мнения смотрительницы, подслушанного нечаянно: "Она, кажется, совсем здорова". Это было для меня очень приятно. Со мною были карточки любимых лиц, в том числе Владимира Михайловича, и образ Мамы "Утешение всех скорбящих", но все отняли, спрятали. Я только спрятала (сломав пополам) карточку Владимира Михайловича и твердо помнила его слова: "Вы растопчете поганую среду, заедающую Вас". И верила я в это благое пророчество, уповая, что Господь посылает меня по этому трудному пути, чтобы уяснить весь ужас, который перенес брат!

Я отдалась наблюдению за новой жизнью окружающих, потому что через окно могла видеть многих больных, могла судить о лечении и обращении с ними за столь крупную плату в образцовом заведении. Но увы, меня мучила жажда, и, вообще, пить воду я считала полезным, а чужая сиделка, весьма грубая, дав пить раза 3, стала уродовать и не давать. Сперва я терпела, но уснув после обеда, не в силах была преодолеть сухость во рту, и видя, что просьба и увещание напрасны, прибегла к хитрости, к которой прибегала еще ребенком, когда отец, бывало, не давал мне пить после страшно мучительного, всегда применявшегося лекарства "рвотного", а именно, отправилась в ватерклозет и, добыв там из бокового крана воду, только угрожала выпить. Хитрость, как всегда, подействовала. Мне дали чистой воды, но немедленно пожаловались, и так как смотрительница этого отделения была болезненная трусиха,



то по ее просьбе, вероятно, дежурный врач некто **Рагозин** *Рагозин Лев Федорович - 1846-1908 - доктор медицины, психиатр, фото*), (которого год тому назад я тщетно умоляла принять брата Поля, а он отказался сделать это в неприятный день, несмотря на с трудом вызванное мною желание у брата полечиться, и мое безвыходное положение с больным) перевел меня в отделение буйных. Для большей ясности и точности всего ужаса, перенесенного мною, предлагаю прочитать последнюю тетрадь моего дневника, написанного мною тогда же в больнице потихоньку.

5-я глава моего дневника в заживо погребенном отделении, писанного для брата-друга Феликса тогда же, во время события переживаемого, а не после (очень жалею, что сожгла остальные, видя какое тяжелое впечатление произвели они на читающую кузину).

В отделении буйных

"Извольте спать ложиться. Где Вам угодно? - на кушетке или на кровати?" - обратилась ко мне смотрительница нового коридора, Софья Максимовна. Легла бы на кушетке, да боюсь, что меня снесут вместе с нею куда-нибудь, указала бы и на неудобство постели, но дабы доказать отсутствие всех болезненных причуд, молчу везде, где только можно и "ложусь на кровати", - ответила я. Затем я сняла с себя решительно все кроме рубашки, отдала даже образок с шеи и кольцо, данное мне "незнакомцем", которое в Коломне считала незаменимо дорогим мне, без малейшего спора. "Вот, видите ли, все отдаю, видимо, не имею никакой странной фанатичной или болезненной привязанности к чему бы то ни было", - пояснила я, дрожа от холода, укладываясь на незнакомое дотоле ложе.

Спустя 5 минут я снова позвала Софью Максимовну и спросила довольна ли она мною? Заслужив похвалу, я сказала: "Вот как легко успокоить Вас!" Затем, узнав от сиделки, что было всего только 9 часов, видя соседей моих еще не спящими, я решила теперь-то и уснуть, находя это время более безопасным для подозрительно настроенных нервов, но сперва я стала глядеть сквозь отворенную дверь коридора в окно и заметила, что на дворе, визави нашего здания, было другое, ярко освещенное среди нерешетчатых окон, и там беспрестанно проходили вдоль всех окон люди. Пылкое воображение мое шепнуло мне надежду об идеальности современного устройства больниц. Я подумала, - не комнаты ли это для родственников больных, которые, безутешно горя о своей потере близкого лица, непрестанно дежурят, следя из своего визави за дорогим сердцу существом. Мне уже казались среди воспоминаний прошлого любимые фигуры, и я сладко задремала, убаюканная чудной фантазией любящего сердца...

Но, ах! Что ж так больно-больно сжалось оно, зачем так страшно содрогнулось? "Боже мой!" - невольно прошептала я, напрягая слух. Да нет, ведь я сплю. Так, как же я очутилась в тюрьме? "Бряц... бряц... бряц...", - раздавался отчетливый звук постепенно удаляющийся. "Бряц... бряц... бряц... бряц...", - замирало страшное однообразие звуков, влачимых или несомых кандалов!... "Ужели?" - и кровь застыла в моих жилах... "Смерть!" - дико раздалось где-то..., только не далеко. "У..у..у!.." - хрипло протянул какой-то адский голос. "Смерть!" - снова повторил он, и послышалось неземное скрежетание зубов... "Боже мой! Боже мой! Почто мя оставил еси!" - воскликнула я, цепенея, и вся обратилась в бессловесную молитву... Да, кто и на море бывал, так не малевался! Волосы, казалось, отставали от головы, весь ужас Харьковской тюрьмы, хорошо известный мне по запискам беглого князя Кр... представился мне.... Современная катакомба не могла быть лучше! Ад не мог быть хуже, и так я узнала, что он на земле! А, может, и под землю? Ведь, судя по окну, эта камера может и ниже уровня земли?

Итак, погребена! С каких же пор устроен людьми этот ад? Вероятно, он сохранился со времен иезуитов, вероятно поддерживается поляками, ведь и Мержиевский поляк, а может быть это тартарары, устроенные для социалистов, которых тут мучают голодом и жаждою, сортируя потом - кого на виселицу, кого в Сибирь, кого на смерть, или на жизнь! Дикий подземный голос переливался в адских вариациях, моя фантазия невольно развивала мысль, похожую на гамлюцинацию, весь мир казался мне погибшим. Все прошедшее, даже давно прошедшее, казалось, имело тайную связь с настоящим. Отец мой и дядя Модест, внезапно умершие, казались мне отравленными, либо усыпленными для подобного же погребения. Вся жизнь родных, целый ряд исторических событий давил голову данными, в которых я искала разгадки... Мучение становилось невыносимо, я вскочила и стремглав выбежала в коридор, закутавшись в одеяло.

На единственной кровати, стоявшей в коридоре, почти визави моих дверей, сладко спала моя мимическая знакомая брюнетка, далее - уткнувшись на деревянном диванчике храпела сиделка. Дикий голос очевидно долетал из самого заднего № в коридоре, но, заглянув в смежный с моим, я содрогнулась.... Первая красивая дверь отворена была настежь, но за нею на некотором расстоянии оказалась другая, - простая, некрашенная, однополовинчатая, украшенная большими черными завесами и накрепко запертая. При слабом освещении, падавшем на эту внутреннюю дверь, она казалась вполне соответственным входом в тюрьму.

"Да...", - прошептала я и разбудила сиделку... Она спросонья ничего не понимала, но я, обняв ее, уверила, что не могу жить в той страшной комнате, что там действительно можно сойти с ума, что я не уйду от нее ни за что! Добрая сиделка обласкала меня, просила успокоиться и уверяла, что не даст меня обидеть, что кричит по соседству со мною слово "Смерть" одна больная, и мне нечего бояться. Благодетельно подействовала на меня эта струя живого слова, но я все-таки не могла без ужаса уйти одна в свой склеп и узнав, что это необходимо по закону, отправилась, увлекая с собою добрую Александру (сиделку). Но она, как дежурная всего коридора не могла просидеть у меня на постели более 10 минут, и, оставшись одна, я стала употреблять все усилия, чтоб не засыпать, панически опасаясь попасть спросонку от какой-нибудь новой неожиданности в худшее положение.

Так прошло с час времени, но он казался бесконечен. Чего..., чего только не передумала я, чего не перечувствовала. Вдруг, слышу опять отдаленное: "Бряц... бряц... бряц...", - все ближе, ближе и наконец у самых дверей моих... Гляжу, - это Софья Максимовна (смотрительница), и в руках у нее на цепи громадная связка из оригинальных круглых ключей. Так вот в чем штука-то!.. И это удовольствие повторяется в нашем коридоре несколько раз за ночь. Ключами даже отворяют и затворяют то или другое окно, должно быть, чтобы испытать, не побежит ли кто-нибудь из больных, подумала я. Этот вторичный обход надзирательницы разбудил другую соседку мою слева, и она принялась без умолку громко говорить.

Так дождалась я рассвета и крепко заснула часа на два. Утром, покончив свой туалет и напившись чаю из большой жестяной кружки (вот, если б папу моего брезгливого так угостили), я обрадовалась, увидав в коридоре девочку, очень симпатичную, лет 9-ти, - дочь Софьи Максимовны, которая не замедлила придти ко мне. (Сперва и ее во многом находили похожею на меня, я приняла ее за личность нарочно назначенную для возбуждения приятных воспоминаний, или для доставления мне самого приятного любимого общества). По счастью, 14-го был праздник, и малютка могла посвятить весь день мне. Я ожила. После завтрака, меня в числе других послали гулять в осинный сад. Там, на чистом воздухе, пригревшись на солнце, я сладко уснула, удобно приютившись на приспособленной для лежания скамейке.

Когда я очнулась, то была поражена хорovým духовным пением, раздававшимся за забором. Прослушав чуть не целую обедню и несколько молебнов, я решила, что и это, вероятно, устроили, зная мою религиозность. Но едва я встала и пошла в другой конец сада, слышу очень оригинальную музыку на дудочках, которая продолжалась очень долго. Наконец, я обратила пристальное внимание на окружающих. Старушка, делавшая накануне могилку, раскланялась со мною и объявила, что она теперь совсем выздоравливает. "Толстая Екатерина" широко улыбалась и, точно пожевывая что-то во рту, таинственно прошептала... (не могла разобрать, что именно) - купчиха **Катышева**. Интересная барышня лет 19-ти, все порывающаяся уйти, ни с кем почти не говорившая и премоило, презрительно улыбающаяся, а иногда и уморительно гримасничавшая - **Надежда Михайловна Громницкая**. Кокетливая брюнетка, заманчиво вздернувшая носик при встрече со мною - жена военного капитана **Пелагея Дмитриевна Катаврасова**. Левая соседка моя, во весь дух носилась по саду и громко разговаривала - генеральша **Александра Вильгельмовна Бедряго**. Правая соседка, кричавшая "Смерть", имела очень приятный, кроткий, но измученный вид и сидела в балахоне со связанными руками под конвоем сиделки - еврейка **Софья**.

Далее, из более интересных личностей было человек пять. Молоденькая дамочка, вечно вышивающая туфли и нередко плачущая над ними, - **Неонила Константиновна Лохвицкая**. Страшно серьезная и вечно молчавшая барышня с умными карими глазами, - студентка **Надежда Давыдовна Броцкая**. Высокая, некрасивая, но, по-моему, симпатичная дама, вечно стоящая у забора близ улицы, и постоянно держащая себя за голову рукою, поминутно подзывает всех вновь входящих и спрашивает: "Не пришел ли муж? Пошлите его ради Бога!" - **Анна Александровна Николаева**. И наконец, заинтриговавшая меня еще вчера в окно, недоступная интересная барынька, сидящая опять в беседке, уже с книгою - **Анна Егоровна Николаева**.

На этот раз, считая, что если не все, то некоторые из этих личностей положительно находятся здесь для меня и совершенно здоровы, я решила испытать каждую из них более или менее подходящим вопросом, и - что ж ты думаешь? Такой оборот дела заинтриговал меня еще больше, потому что все ответы были замечательно подходящими. Например, предположив, что кокетливая брюнетка, похожая очень на карточку Ломакиной, невесты Поля, которую видели доктора, может играть ее роль, я спросила: "Вы верно скучаете о ком-нибудь?" "О нем", - очень мило ответила она и продолжала: "Вы так похожи на него.... или я ошиблась?" - вопросительно кокетничая, закончила Катаврасова. Наконец, молчавшая Громницкая, на мой вопрос почему она не говорит ни с кем, ответила, своеобразно улыбаясь: "Потому что хочу говорить только с Вами". А недоступная студентка, как бы тип для разочарования меня в недавней роли педагогички, сказала даже при моем приближении: "Зачем она идет сюда, она мне мешает". "Браво, браво!" - невольно сказала я, никак не предполагая, что случайность может быть так догадлива.

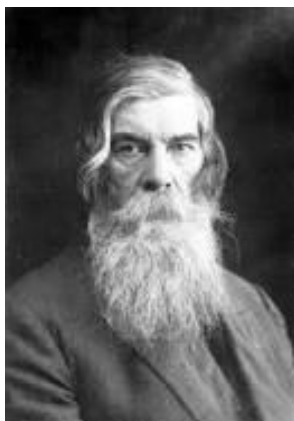
В это время поднялась суэта перед появлением целого штата врачей под предводительством профессора, по привычке рассыпавшегося мелким бесом в

фразах: "Как? Да, что? Хорошо ли живется? Вкусно ли кушанье?" и т.д. Это повторялось ежедневно, и всегда мною отвечалось одно: "Довольна всем вещественным, дайте только занятие!" Спустя некоторое время Рагозин вошел один, уже в штатском платье. Я, получив сладкий отказ в занятиях, грустно сидела в это время на скамейке. На вопрос доктора: "О чем пригорюнилась?" - отвечала: "О том, что вы человеколюбивый врач. Увидав меня в прошедшем году одну с больным братом, которого, с трудом пользуясь минутным личным желанием, я привезла к вам сама, и привезла в ту минуту, когда он очень нуждался в облегчении душевных страданий, то тогда, - говорю я - вы не приняли его, даже отказались выслушать меня, а теперь, когда меня привез дядя со звездой, и когда вы увидели бумажник, то вы с радостью приняли меня!" И я зарыдала. "Неужели Вы узнали меня?" - спросил Рагозин, растерявшись. "Еще бы", - твердо произнесла я. Доктор поспешно обошел весь сад и, не сказав ни слова, удалился.

Вечером в тот же день я снова горько заплакала. С каждым часом безделье становилось для меня невыносимее. Я уже из крошек хлеба начинала складывать слова, но крох хватало только на одно выражение: "Мученица". В первое отделение я уже не попадала. Когда зажгли огонь, я, окончив беседу с милой смотрительницей Софьей Максимовною, убедилась из ее слов, что тут далеко нет той идеальной больницы, которую я воображала, и вокруг меня были действительно все больные, а о комнатах для родных напротив и помину не было. Горько, горько стало у меня на душе, прислонилась я к притолоке своей невеселой кельи и тихо заплакала. "О чем, моя голубушка?" - с участием спросила Софья Максимовна. "О том, дорогая, с отчаяньем ответила я, что я насчитывала 60 человек родных своих и сразу лишилась всех, кроме двух.... Поймите, разве это легко! Теперь они будут мне родные", - сказала я, указывая на больных. Да, эта минута была ужасна, ночью было страшно, а теперь больно, и как больно!...

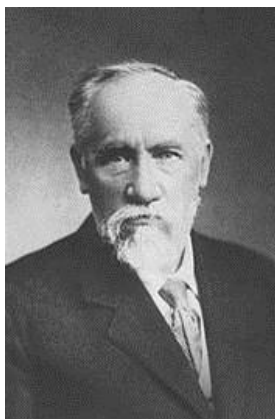
Так потекли дни за днями. С Софьей Максимовною хорошо сошлись, она дружески беседовала со мною, угощала всем, что только покупала, и уверяла, что меня скоро выпустят. Софья Максимовна удивилась, что в бытность мою в "буйном" я сошлась со всеми больными, кроме одной, живущей здесь 19 лет, настолько, что они говорили со мною, а двое были положительно разгаданы: Катаврасова, бывшая других, со мною целовалась и даже премило играла в карты, быстро постигая новые игры. Еще соседка - староверка Агафья, бушевавшая не раз, ласкалась ко мне, пела песни и вязала чулок по моей просьбе. Она положительно помешана на том, "что одни староверы всеильны".

Наконец 17-го сентября меня перевели наверх в отделение выздоравливающих. Да, еще забыла вот что сказать, лекарства я не принимала четверо суток, желая доказать премудрым врачам, что без всякого зелья я умею спать. 10 раз я выливали какую-то жидкость на пол, а когда не давали - за пазуху. Постигнув же, где я, отлично спала со второй же ночи. Из врачей лучшими оказались Рагозин, **Владимир Михайлович Бехтерев** (*Бехтерев Владимир Михайлович - 1857-1927, русский психиатр, академик, фото*) и г. **Данило**. Все трое были товарищи **Коробовского** (*Коробовский Николай Васильевич - ?-после 1903, ветеринарный врач, выпускник и преподаватель Императорской Военно-медицинской академии, надворный советник*), усердно расспрашивая у меня по очереди биографию прошлой жизни моей. Они командировали, наконец, ко мне своего товарища (Н.В. Короб-го), давно уже просившего их пустить его, но они в буйный не могли его допустить и боялись, не узнав меня, доставлять свидание с молодыми людьми. Ему говорили: "Иди ты к ней, потолкуй, ты прежде знал ее, а то, право, не разберешь, слушаешь ее и видишь, что говорит совершенно здраво, только сгоряча, так откуда ж взяли, что она дурит?"



Итак, с 18-го сентября мне посыпались все радости. Прежде всего явилась Екатерина Ивановна, моя сердобольная сестра милосердия. Сперва я встретила ее резко и холодно, думая, что родные, ради Христа, прислали ее вместо себя полюбопытствовать как я благоденствую! Но потом, услышав, что она сама ежедневно стремилась навестить меня и только по собственной болезни отложила, выразила горячую признательность и на вопрос: желаю ли я чтоб она осталась, конечно ответила утвердительно. Итак, мы зажили вдвоем, и только тот, кто со мной пожил даже на правах свободного, понял всю прелесть дорогого новоселья. Даже вдали от "буйного" Е.И. ужасалась по ночам, а пение-то в смежном мужском отделении! А музыка-то на дудочках, от которой никуда не уйдешь, потому что верхнее помещение прилегает к мужскому, да, кроме того, коридором выходит на двор-каре, куда выходят окна всех отделений. Все верхние постоянно и днем и ночью вентилируются, следовательно, - все слышно. Кельи же наши выходили окнами в оба сада - мужской и женский. Наверху было два коридора. Один выходил на улицу и прилегал к зимнему саду. Он назывался "благородным". На его шикарные номера я имела право за 63 р.! Но меня поместили в "широкий", и я сказала спасибо за простую, но большую комнату в 2 окна. Авось, думаю, из нее легче вылететь!

Сухопарая Ольга Аркадьевна была смотрительницей этих помещений, и тут только я поняла, что нежелание многих больных переходить сверху в "буйный" очень естественно. Желчная, чахоточная несправедливая "начальница" была иногда невыносима. Сплетни, каверзы и тут были пригреты. Ольга Аркадьевна терпеть не могла Софьи Максимовны. Из этого все и кипело. Профессора наверху боялись страшно. Чистота везде была замечательная. Чуть не каждые 1/4 часа, пол везде вытирался щетками с мокрой тряпкой, видимо, смотрели и ворчали больше из-за сохранения наружного лоска, а не думали об угождении больным. Зато уж и щелкала же я высшее начальство.



Перед приходом профессора ко мне в комнату влетела сиделка со щеткою, затем один врач **Сикорский** (*Сикорский Иван Алексеевич - 1842-1919, русский психиатр, профессор Киевского университета Святого Владимира, фото*), увидав, что я превесело говорю с Е.И., сказал: "Не говорите много". Я, промолчав, взяла, да и легла на постель. Но смотрительница вскочила и объявила: "Не мять постель!" Другой врач, придя вслед, посоветовал: "Работать". Третий (все новые врачи) - испугался иголки и командировал играть на рояле, но его, наконец, сменил профессор с обычным вопросом: "Довольны ли?" "Всем, - ответила я, - только не вашей разноголосицей".

Последовало разъяснение, спасовал наш светоч: "Я - говорит - ничего еще не разрешал Вам". - "Так, поспешите же довершить, за Вами дело и очередь, разрешайте писать!" - "Зачем? Кому?" - "Родным" - "К чему?", - сладко понижая свой голосок, возразил владыка, - "Ваши родные справляются о вас! Этого не было, раньше не делали! Зачем вам писать им?" - "Да потому, - сказала я, - что вы забываете, что у меня могут быть родные и без звезд, которые не могут придти в четверг 20-го, т.е. в приемный день, хотя по личной просьбе у врачей пускают и ежедневно. Но на первый раз решили так! Потому что вы, не находясь на моем месте, никогда не можете этого постигнуть со всей вашей ученостью!" - "Кто же эти родные?", - спросил Меж-кий. Я назвала. Тактичен! Не сразу удрал!

Пользуясь разрешением, если не самого владыки, то его свиты, в 12 часов я спустилась в залу и гостиную. Доктор Данило, пришедший после, сам проводил меня к роялю, и сообщил, что знакомый мой Н.В. Короб-кий давно просит свидания со мною. Желаю ли я этого? "Конечно, да", - ответила я. И вот, наигравшись вволю на рояле, который мог бы страшно раздражить другую, ибо некоторые ноты не действовали, т.е. не играли совершенно, я обратила внимание на казенные ноты. К моему счастью они

были все в клочках, но зато у одной больной (**Марьи Александровны Арсеньевой**), единственной игравшей там уже 15 лет музыкантше, были прелестные, самые новые ноты. Я, восхищенная ими, совершила невозможное, выучила на память пьеску страницы в 4. Тут, конечно, не жаль было времени на долбление наизусть. Затем, я позавтракала в общей зале и принялась усердно знакомиться с обществом.

Надежда Михайловна Громницкая. Всеми признано и проверено мною, что она не завирается ни на одном слове, вся странность ее заключается в желании дразнить Ольгу Аркадьевну посредством брэнчания на рояле, которого та не выносит как нервная и чахоточная, а сиделок сердила она порывами удрать туда, куда не велят, или тасканием репы с грядок в саду. Как только ее отдернут за руку от рояля или двери, Н.М. приуморительно делает гримасу. За нее я сцепилась с Ольгой Аркадьевною. Тонким манером рассказала ей пример, что "как аукнется, так и откликнется". Раскусила. Сперва вскипятилась, а потом, гляжу, уходит и не мешает Н.М. брэнчать.

Неонила Константиновна Лохвицкая - жена полковника из Владикавказа - имела близнецов. Молоко бросилось ей в голову, и вот муж препроводил несчастную за сотни верст с какой-то наемницей, которой платил 40 р. в месяц. А она, как простая смертная, только раздражает больную, требуя, чтобы взрослая плясала по дудке. Лохвицкая, - видимо, веселая светская дама, любившая очень танцевать и завлекать, вместе с тем, привязана к своим первым крошкам, мечтая, как будет их одевать и воспитывать. Характера - упрямого, вышивает прелестные туфли грубою шерстью и говорит: "Я их век буду беречь, они вышиты моими слезами". Единственная странность ее - воображать, что врачи в нее влюблены и что все работы ее безукоризненны. Ни за что не хочет послушать меня, что шерсть нужно двоить. Я поступила с нею как с ребенком, она не прекословила и я выпросила разрешение помочь шить другую туфлю уже начатую ею. Позволила. Вот я и стала по одному крестикку пороть да зашивать раздвоенной ниткою, имея другую иглу про запас с грубой шерстью. Кончила и показала. "Ай как хорошо!" - воскликнула упрямица, полюбила меня, стала угощать конфетами и сама стала так шить. Но за это компаньонка невзлюбила меня!

Студентка Броцкая осталась недоступною. Страдает только меланхолией.

Анна Александровна Николаева - жена военного доктора. Ее считают помешенною на ревности, а может, лишь заключенною за ревность. Эта особа, бросающаяся в глаза своими странными однообразными позами, худая, измученная, но поговорите вы с нею - и вы заслушаетесь. Познакомились мы так. А.А. моментально выучила мое имя и стала чаще всего обращаться со своим любимым вопросом: "Голубушка, вы были внизу (или наверху), не пришел ли мой муж? (в этом, положительно, вся ее странность). Стоя в уборной у окна, она стала хвалить мои волосы, а я решилась посоветовать ей причесать свои и похвалила красивые зубы (надо же было утешить ревность, если это так). "Где уж!" - приятно улыбаясь, отвечала А.А., обычно проводя рукой по голове.

Мы стали говорить о неумении служащих обращаться с больными. "Где им уметь, что они знают", - отвечала А. А. "Да, впрочем, разве можно требовать знания от них, если Сократ, великий ученый, и тот сказал: "что знает только то, что ни чего не знает." - "Это правда, - возразила я - и как много нужно сперва знать, чтобы иметь право сказать как Сократ. Впрочем, нельзя отрицать, что со времен великого философа знания наук все-таки не выросли". - "Да, - задумчиво подтвердила А.А., - теперь даже дети иногда-то знают, чего не знают большие!" - "Вы вероятно имеете детей и недовольны их быстрым развитием?" - поспешила спросить я, предполагая, не это ли конек больной. - "Напротив, я очень рада быстрому развитию моих крошек, пусть знают все-все, чтобы уметь не попасть туда, где" - "Мы", - dokonчила я в восторге. Много очень остроумного слышала я в свою бытность от А.А. Она очень любила музыку и всегда слушала меня. Однажды, я решилась посоветовать ей бросить оригинальную привычку держать себя постоянно за голову. "Не могу, голубчик", -

нимало не обижаясь, ласково ответила А.А. "Это только и облегчает мою нервную головную боль, пусть смеются, от этого мне хуже не станет."

Другая Николаева, совершенно чуждая А.А., та, что сразу заинтересовала меня в беседке, оказалось, была самой крупной жертвой современной справедливости и человеколюбия. Я не ошиблась, милейшая Анна Егоровна Николаева оказалась здоровою, заключенною по совету врача, для того, чтобы аргументом ее "мнимой" болезни он мог смягчить сердце великих мира сего и определить 2-х дочерей ее на казенный счет. О, Боже! Что за жертва! Ее не допустил и справедливый Всевышний Судья. Анна Егоровна 17-ти лет вышла замуж за поручика Николаева, состоящего и теперь Начальником Порохового завода, и была обманута этим первым другом своим. Он скрыл, что страдает падухою болезнью и угостил ее таким сюрпризом после брака. Теперь он, то кутит, то пролеживает месяцами в больнице. Жена (26 лет, хорошенькая, видная) без средств содержала семью и все хозяйство.

Наконец, вырастив 8-летнюю и 7-летнюю дочек, принесла себя в жертву без памяти любимым детям, оставив их и годовалого сына у деверя. Она погреблась добровольно и невольно. Господи, чего мы с ней не переговорили! И вдруг, в день моего освобождения, гляжу, плачет моя соседка навзрыд. "Что с Вами?" - говорю. Оказывается, получила письмо от деверя, что старшая дочь еще с 16-го сентября в тифе в больнице. Несчастливая мать душой там, а здесь - связанная по рукам и ногам. Выйти, - значит, здорова. И вот, она молит меня и Е.И. справиться в больнице. Оказалось, что обе девочки приняты на казенный счет, и в тот же день старшая крошка принята Богом в лучший мир! Несчастливая жертва святых чувств выписалась из клиники и, по словам деверя, злая-презлая прилетела на извозчике, взяла дочь и сына, ни слова не говоря, и увезла их на свою казенную квартиру при Пороховом заводе на Охте". "Чего злится-то фурия? - добавил деверь - И где ее любовь-то? Знать и впрямь с ума сошла!" Вот и суди!

В заключение опишу еще два субъекта. Девочка 8-ми лет - **Адя Чернявская** - дочь богатых родителей, замечательно развитая, умненькая и довольно уже образованная девочка, живёт здесь с нянею. Вопрос - зачем? Что за дикая мысль воспитывать дитя среди больных, чужих! "За упрямство", - пояснили мне надзирательница и няня. "Спросите-ка у нее. Вон, она никого в мире не любит, братьям своим в башмаки булавок натыкала." - "Никого не люблю, - подтвердила Адя, здоровенькое, розовенькое дитя, мило пропуская букву "Л", - прежде, давно любила маму, а теперь никого не люблю". Станным мне показалось все это, но если это и так, то кто же виноват? Уж не дитя же! Я допускала скорее мысль, что от малютки скрывают и лечат в ней какую-нибудь болезнь, но разве этого нельзя сделать дома, имея большие средства. Ведь и тут платят. Кончилось тем, что Адя полюбила меня так, что только, бывало, и слышишь: "Ю.П. пойдите к нам в комнату!"

Далее - еще ужасный субъект. В сенях на страшном сквозном ветру, под вечно открытой форточкою в колясочке сидит живое существо с блестящими оживленными глазами и торчащими вперед зубами. Его катают и кормят, как маленькую птицу, толкая пищу пальцем в разинутый рот. И это - мальчик 12-ти лет, **Ваня Сидоров**. Он представляет собой скелет, обтянутый кожей, но сложен правильно. Не ходит и не говорит, словом, равен развитием годовалому ребенку. Сын клинического писаря. Стоит себе одинешенек, его покормят, переменят подстилки и только. "Идиот", - говорят. Подхожу, кланяюсь. Улыбается. "Дай - говорю - ручку." Подал. Гулюкаю с ним. Улыбается. Наконец, приподнимая немного платье и переступая, показываю на ноги. Гляжу, и он вытащил ноженки и, протянув сухую ручонку, старается подняться, издавая разные звуки радости, из которых иногда слагает: "дайте", "баба" и т.д. Мокроты так и просятся наружу у бедняги, борода все гноится и струпится. А из жалости, начальствующие еще сладким подкармливают!

Вот мир страдальцев! Где уж там душою отдыхать! Но, что ты скажешь на мою новость? Что именно в этом мире я, 5 лет не танцевавшая, плясала до упаду. Да,

Марья Ал. Арсеньева нам играла, а я за кавалера так кружилась со всеми желающими, что хоть в бешеном вальсе заставила их забыть, где они. Лохвицкая была в восторге, и Анна Егоровна увлекалась. Такой бал был у нас только раз вечером. Моя Екатерина Ивановна радовалась, сочувствуя забывшимся несчастным.

Остальных описывать не стоит. Есть типы полного сумасшествия, хоть картину рисуй. Иногда, подобный субъект усядется и бессмысленно задумается, но мудрено ли стать таковым через 19 или 15 лет! Да, впрочем, еще забыла указать на одну личность. Дня за 2 до моего отъезда привезли новенькую. Гляжу, через 1/2 часа она является уже ко мне в комнату знакомиться. Оказывается, "сестра милосердия" Красного креста (в форме) Екатерина Федоровна Ешкина, - здоровенная, лет 32-х, ученица Боткина по фельдшерству, сблизилась сейчас же с моей Сердобольной и пустилась бранить докторов, но совершенно здраво. "Они, - говорит, - черти, весь сок из меня вытянули, да теперь думают меня заставить по дудке плясать, как же!" Оказалось, что она была на войне, прошла огонь и воду, страсть, что вынесла, и летом, быв на юге при войсках, чувствовала страшную усталость и сильное расстройство нервов. Тогда умоляла отправить ее в клинику отдохнуть и полечиться. "Так нет, - говорит, - черти! Тогда я им правая рука была, не пустили, а теперь, как нечего делать, насильно повезли кататься, да и привезли в клинику, а за что? За то, что я им правду сказала, надули кругом, обошли наградами, а теперь и лечат разноголосицей. Один приедет - то скажет, другой приедет, говорит: "Нет, это не годится". Так-то выливала она свою желчь.

Пришел к ней профессор, спрашивает, по обыкновению, "довольны ли? комнатка ведь хорошенькая!" (на благородном), а она в ответ кричит: "Убирайтесь к черту! Чего вы важничаете своим профессорством, ничего вы не знаете, как приглядишься к вам! У меня и дома комната-то лучше вашей!" Вот так субъект! Но по справкам Ек. В. у других сестер, оказалось, что Ешкина говорила правду, что ее действительно очень обидели. При мне ее перевели в буйный, и я опасалась, чтоб у нее не сделалась нервная горячка, так как она сама, как знающая медицину, сказала, что "подлецы доведут ее до этого". Вот тебе весь сказ про больных.

Заметя еще в начале, что толком и честью тут ничего не дождешься, я пустилась хитрить. "Позвольте, - говорю, - Ольга Аркадьевна ваши казенные ноты подклеить." Она обрадовалась охоте, однако крахмал и бумагу (целую десть - 24 листа) пришлось купить на свой счет. Ноты подклеились 5-ю листами, а уж писала-то я, зато писала страсть сколько, все время пока сидишь наверху, бывало, только читаю. Спасибо Екате. Ив., поняла меня, и не выдавала черныка, написанного карандашом, подчас тупым, без дна, спасибо Аде, она карандаш чинила. Впрочем, нечего мне пенять, ножниц там, по словам больной, она едва через 12 лет дождалась, чтоб доверили, а мне Ольга Аркад. дала через неделю, ноты-то подрезать!

Свидание с Коробовским, ветеринаром, племянником Дяди Пл. Ал., было препотешное. Он хохотал, слушая мой рассказ. Такой он славный, право, и встретил-то меня с уверенностью, что, зная, Коломенские не поняли эксцентричную барышню. "Экую комедь-то отломали!" - заключил он мой рассказ. Да, спасибо ему, отвела душу, видя человека, смотрящего на меня человеческими глазами. Через день он пришел ко мне с братом, а потом опять один. Доктор Данило предложил мне после этого и писать и читать. За такую доброту, которой без профессора все-таки нельзя было воспользоваться, я выразила желание действительно полечиться у него от того, от чего следовало, т.е. от биения сердца.

Финалом лечения в клинике было полное свидетельствование меня, оказавшееся столь же удовлетворительным в конце, как у незабвенного Блинникова в начале, потому что тогда я приехала сама. С легкой руки Коробовского принеслась и весть о приезде Саши из Смоленска. Обрадовалась я, но, услышав ее выражение, сказанное другим "заболтает теперь она меня!" разочаровалась. Положим, я не полагалась даже на мнение снисходительной Сердобольной, которая, не зная ранее

моего характера, не зная причин и видя меня после прелестной рекомендации в раздраженном состоянии и во время бессонницы, могла считать больною, но та, которая 13 лет жила со мною, та, которой я поверяла все мысли, та, которая сама в нашей обстановке доходила до отчаянья, доходила до того, что с уверенностью в страшной возможности решалась поверять мне свое опасение и причину слез: "ей кажется, что она может сойти с ума!" - та не имела права относиться так!....

Находила же я средства разбивать тогда эту непрошенную мысль в ней! Как же могла она поверить страшному слуху, как не явилось в ней простое желание применить свои знания "сестры Сердобольной" для утешения всеми оставленной подруги ее детства, ее мысли, даже ее чувств! Я думала, что она приехала, если не для того, чтобы с уверенностью друга сказать, что, зная меня, не допускает возможности слухов, то для того, чтобы заменить для меня всех. И Боже, кем бы она стала тогда для меня! Ведь она бы сделала это не из-за денег! Но нет, 10-ти минут свидания было достаточно. Поручение исполнено, драгоценности взяты, поездка совершена, чего же больше! Наахаться, порассказать, и в Смоленск можно. Могла ли я обрадоваться такому визиту Дяди и Саши?

Первого я даже не поцеловала. Его со звездой приняли в пустом № на благородном коридоре, проведя через зимний сад. Дядя был озадачен небывалой холодностью моей, но что ж тут удивительного? Ведь я считала себя чужою им (помнишь, после 14-го). На вопрос доктора Рагозина, приведшего гостей, рада ли я, я отвечала, что не могу радоваться свиданию с тем, кто привез меня сюда. Рагозин старался смягчить меня, уверяя, что после я поблагодарю за это сама. "Никогда", - твердо отчеканила я. Вот главный оттенок свидания, после которого я послала Мар. Пет. - тете (жене дяди) такого же свойства письмо через Е.И., но узнав, что они способны огорчиться таким отношением моим, смягчилась и написала снова такое, какое свойственно писать Юле тем, кого она любит. Если достану эту свою записочку, то препровожу тебе. Затем последовал визит "Дедушки" Владимира Петровича, прикатившего со съезда, куда был обязан явиться 11-го сентября. Он тоже хорошо отнесся ко мне и говорил, что полагал, оставив меня спящую в 5 часов утра 11 сентября, что этим сном все нервное расстройство (причины которого вполне не понимал) и пройдет. Он привёз массу фруктов, за которые все сиротки замкнутого мира были очень благодарны.

После клиники, учительское училище

Наконец последовало освобождение. 27-го утром профессор явился со всем штатом объявлять, что в 4 часа дня дядя приедет за мною. "Очень рада", - спокойно ответила я, - это доказывает, что он любит меня". Уселись. "Скажите, - обратился профессор, - что вы, конечно, сейчас же приметесь за лекции?" - "Нет, - думаю, - не поймашь", - и ответила отрицательно. "Сколько же думаете отдыхать?" - "С месяц после вашей клетки нужно повольничать, впрочем, там увидим, сколько вздумается", - ответила я. "Да, это хорошо-с, месяц погуляйте!" - вот я и гуляю, с тобой болтаю! Право, честно, на лекции пойду 27-го или 1-го, если все устроится, как хочу. В заключение Рагозин обратился ко мне с вопросом, помню ли я все свои вещи. "Конечно", - ответила я.

"Если так, то скажите, как вы такая умная девушка держите у себя в записной книжке запрещенные стихи?" - "Очень просто, - ответила я, - потому что в жизни своей я не произнесла и не написала одного слова, которого стыдилась бы, И могу Вам всем пожелать также, не краснея, рассказать свою жизнь перед лицом света, как я могу передать свою. Так прожил мой отец, так проживу и я!" - гордо закончила я. Но после всеобщего молчания продолжала: "Если вы находите нужным, я предоставляю вам разорвать стихи, ведь из головы все равно их не вырвешь". - "Нет, - возразил Рагозин, - мы отдадим Вам все и как умной девушке предоставляем поступить, как сами

найдете нужным. Скажите только, откуда достали вы эти стихи?" - "Эти стихи Михайлова гремят в Сибири, - улыбаясь, ответила я, - у меня есть кузен-поляк, который в 60-х годах был сослан чуть ли не за то, что носил национальный костюм. Он теперь освобожден и сообщил мне эти стихи", - попала не в бровь, а прямо в глаз. Мержиевский, тоже поляк, встал и с обычным достоинством ушел со всею свитою своею.

Итак, я снова на свободе! Первый визит мой был на Петербургскую. Заехала к Спасителю, и, странно, теперь это желание не было дико. Дома в Коломне все пошло как прежде, но деятельность свою я начала с испытаний тех лиц, которые уверяли в искренности расположения своего. Для этого написала Давыдову от имени Р.П. Шевандина, будто бы осведомляющегося по просьбе сестры о моем здоровье не доверяющей Смоленским сплетням. Ну и попался. Отказал написать, не зная кому, все, что только думал. Молодец! Он истинно любящая баба, которая рада поделиться "горем" других с каждым встречным. За это я 13-го октября отправила ему с Караб-м "сумасшедшее" письмо и деньги за уроки летом. Не понял, должно быть.

Встретилась я с Владимиром Петровичем у наших вовсе не так, как ожидала. Он, добряк, вздумал избегать меня, воображая, что дружеское пересказывание всего случившегося, раздражит меня. Это и бывшая неволя вызвала у нас прилагаемые стихи.

*Как птичка, что в клетку попала,
Малютка, ты рвешься на волю
К лесам тем, где прежде порхала,
К цветами поросшему полю.
Где мирно и тихо жилося,
Без горя, сомнений, тревоги,
Где гнездышко свить удалось,
Приют после трудной дороги.
Но верь мне, напрасны усилья,
Что будешь ты делать с свободой
Пока неокрепшие крылья
Не в силах бороться с природой.*

*Ведь первая буря, конечно,
Тебя унесет безвозвратно
К чему торопиться беспечно,
Вернуть все бывшее обратно.
Всему есть и место и время,
Ты скоро совсем укрепишься
И, сбросив тяжелое бремя,
Опять на свободу умчишься.*

Истина, которой тонко развращенный "Дедушка" никогда сам не выполнял.

Дяде и Деде Володе 4-го октября 1879 года.

*Птичка снова на свободе,
Снова рвется жить и жить!
Снова будет на просторе
Песнь о счастье Вам сулить.
Ея гнездышко: раздолье,
Не вещественно оно,
Это гнездышко ведь Божье,
Знать уж чудно создано!*

Не сравнятся с ней те крылья,
 Что привыкли вы давать
 Своим детям для уменья
 В мире терний все порхать.
 В том и штука-то ведь, Дедка,
 Что, хоть маленькая я,
 Но умею уж нередко
 Вырвать терний Вам друзья!
 И как терний этих больше
 Птички "Крошки" оборвут,
 То приятно будет долше
 Вам на розах отдохнуть.
 Приголубь же снова "крошку"
 Приласкай ее опять,
 Научись-ка понемножку,
 Скорбь и горе отгонять.
 Погляди, как она хочет
 Дедку милаго любить,
 И о том лишь все хлопочет
 Как ей, всем Вам услужить!

Горько было мне, что "Дедушка, и хороший Дедушка", с которым я была так откровенна все-таки не понял меня. Ты один знаешь, родной, что для твоей Юли нужна теплая-теплая, нежная ласка и искреннее сочувствие. Тогда она мягка, как воск и мгновенно успокаивается. Но где можно найти такую простую, святую ласку! Ведь ласковые слова все говорят, да нет, это не то! Такую хорошую ласку во время оно я видела только в Елене Петровне Воро-ой и в тебе. Сочувствие и искренность такая же в котеночке моем и в Матон. Несомненная истинная привязанность и глубокое понимание было в моем дорогом незабвенном Папе. Еще год, и он стал бы для меня всем. Он понял бы ту единственную дочь, которую палкой, отгоняли от него с 7-ми лет.

Возвратясь в Коломну, я, не доверяя вполне родным, делала еще такие испытания. Чувствуя вечером, что застудила ноги гуляя, прошу ни с того, ни с сего, ложась спать после громкого спора с В.П., "водки"! Не объясняю зачем, чтобы испытать, доверят ли и дадут ли мне водки так. Слышу, пошло шушуканье, подали мне 1/2 рюмочки сладкого точно сироп доппель-кюммелю (*ликер*), вот я и вскипятилась: "Разве можно, говорю, этим ноги натирать?" Уверяют, что нечаянно налили! Ни за что не признаются, что боялись или не поняли! С В.П. повздорили мы вот за что. Ты знаешь, что я не люблю когда пьют. Ему ж и доктор запретил. Вот, я всегда, когда вижу, прошу, чтобы он не пил, а он хорохорится при других. Вот еще подумают, девчонка командует. Беседуя, я и заметила: "В.П.! Почему это, когда мне, любя, напоминают о чем-нибудь действительно вредном, то я не постыжусь перед обществом показать, что охотно подчиняюсь хорошему влиянию такой-то личности, будь она и моложе меня, а вот мужчина, - так всегда стыдится?" Теперь при встрече я указала на этот аргумент, пользуясь которым В.П. мог взять с меня обещание, ради личного его покоя, чтобы я хоть молчала про все. Но он здесь не догадался так поступить, а после было уже поздно. Я совсем раскусила его!

1879 год, Питер

Вылетела я снова на свободу, благодаря тому, что в больнице мое письменное слово не потеряло своей силы. Напротив, там в спокойную минуту я могла лучше обдумать свою речь и придать ей именно такой оттенок, который мог бы повлиять на лиц, имевших власть выпустить меня. Возвратясь к Дяде, я, хотя и потеряла к нему

личную привязанность, но все-таки простила ему то, чего, может быть, не простил бы мой отец. Я ведь уверена была, что он поступил со мною жестоко, подобно услужливому медведю, пустившему камень в пустытника ради его же блага. Поняв отлично, к чему приводят противоречие и настойчивость среди таких людей, я на первых порах приноровила образ своей жизни к их взглядам, т.е. позволила оставить в виде компаньонки сестру милосердия. Сама назначила себе отдых от лекций на целый месяц, зная, что по случаю "болезни" меня освободят от 1/2 годичных репетиций перед Рождеством Христовым. Пользовалась прогулками, чтением, да обдумыванием дальнейшего, вполне гарантированного, свободного и самостоятельного существования своего в столице.

Во время прогулок я не замедлила заглянуть в свою бывшую квартиру, там уже не было студентов. М. Прес приняла меня радушно, но меня уже не подкупала ее любезность, и до сих пор я подозреваю, что и она и г. Ерлыкова были никто иные, как благонамеренные слуги политических ловушек и интриг, отдающие квартиры подешевле и ловящие без разбора всех, кто по их мнению подозрителен. Даже студенты могли быть интриганами заодно с ними. Не знаю, сам черт не разберет этих Питерских современных трущоб. Я со своей стороны просила только М. Прейс сказать мне, кто мой "незнакомец", и где его найти, чтобы возвратить кольцо, так как в 24-м № его не оказалось. Это был столь же ложный адрес, как и мнение Давыдова и Дяди (будто бы со слов незнакомца), что он один из парикмахеров Васильевского Острова.

Я перебыла везде и нигде не нашла его. М. Прес также не указала мне его адреса, а решила пригласить его к себе. Незнакомец явился на минуточку, принял свое колечко, на признательность мою за его попечение отвечал лаконической фразой, что в этом нет ничего особенного, ибо он знает столичную необузданную толпу и считал своим долгом вступиться. Вообще, был тороплив, смущен, даже не присел и имени своего все-таки не сказал, мгновенно простясь с нами. С тех пор я его не видала и сохранила только копию с его колечка, как средство когда-нибудь разгадать загадку.

Что касается до отдыха, назначенного себе, то я знала, что он, как период отчета прошлому и постоянного наблюдения за воззрениями на себя окружающих, для меня не менее тягостен всего пережитого. Я истощила все силы, чтобы с честью вынырнуть из той страшной пучины, в которую кинула меня судьба, и теперь казалась так слаба, что жаждала дружеской поддержки и как-то страстно искала ее. Во-первых, письменно у Феликса, но он, хотя и понимал меня даже не читав дневника, и говорил, что будь он со мною, ничего бы не случилось, однако обещал приехать не ранее весны. Чувала я, что его удерживает нечто особенное. Мечтала я также найти своего вещего Светоча - Вл. Мих. и просить его помощи в упущенных занятиях, когда поселюсь на квартире. Эта мечта виднелась мне яркою звездочкою и сулила такое утешение, какое и во сне не снилось. Хотелось мне предстать победительницею перед лицом того, кто толкнул на борьбу, дав уверенность и силу...

Но эта поддержка впереди, а теперь явился только "Дедушка" - такой странный, осторожный, избегающий меня. Я до того обозлилась этою переменою, до того верила в его горячую привязанность, так нуждалась в той нежной ласке, к которой он меня приучил, что вдруг сама вся изменилась, увидев его овладевшим собою. Я сама стала воплощенным огнем), я даже не узнавала себя, уверенная в том, что сумею устоять, коли будет нужно, иногда положительно переступала границы и готова была, кажется, жертвовать собою только бы добиться прежней ласки. Но "Дедушка" был непреклонен. Тогда я вынесла страшную муку разочарования в нем, видя возникшую в себе страсть, вызванную к... (непонятно) орудием для достижения прежней ласки и необходимой дружеской поддержки. Я шла вперед, но, конечно, поборола ее и не узнала В.П., признала "Дедушку" за пустого ловеласа, который достиг своей цели, да и плюнул на ту, которая, действительно, как "дито невинное" доверялась ему с искренней привязанностью и так сильно нуждалась в поддержке.

Мы помирились с "Дедушкой" едва через полгода (об этом же переходном времени можно судить по некоторым необузданным письмам моим к нему). Великое утешение доставила мне несравненная Тетя-Мама моя. Она долго не знала, живя в Смольном, о моем несчастье, потом, конечно, пользовалась сведениями из уст любимого брата и, наконец, через 2 недели приехала к нему, где встретилась со мною. Боясь за ее годы и слабую голову, я старалась передать ей свою ужасную драму в самой мягкой, но ясной и последовательной форме. Бедная, любящая, нежная старушка моя содрогнулась от этого рассказа, даже не в силах была слушать до конца, но отлично поняла все, постигла, насколько исказили ей рассказ, как исковеркали мою жизнь, как пагубно очернили мою репутацию, или, вернее, мнение обо мне и просила меня лично разъяснить все это каждому, а сама побежала к "Платону" поделиться своим горем за мои ненужные страдания и своею радостью о том, что надо мною тяготела только клевета, а не истина.

Однако, Дядя не поверил, что я все помнила (конечно, сознаться в своей ошибке нелегко), а читать мой дневник, как доказательство сознания всего бывшего, не исключая нелепых подробностей, все кроме кузины Любочки отказались. Барышня же, делавшая копию с 1-й тетради, писанной карандашом, отказалась кончить эту работу, потому что плакала, писав. Родные, конечно, спокойно повторили: "Ну что ж это не новость, не в первый раз приходится ей дурить, а теперь поделом: не суйся мол в дела нигилистов, да ненужное ученье". Верю, что по своему они пожалели меня и помолились о возвращении на путь истинный, но тяжелее всего было мне узнать, что брат Алеша взял деньги из моего же капитала и заплатил дяде и в больницу, за какую-нибудь неделю 150 рублей, не спрося даже меня. Заплатить за свои собственные страдания - это долго было свыше моих сил. Я требовала возвращения этих денег и едва через год примирилась с подобным расходом.

Спустя месяц, я нашла крошечную чистенькую комнатку у одной простой немки, жены жандармского служивого, за 6 рублей в месяц с мебелью, против самого училища нашего и была счастлива, переехав в этот сходный уголок. Одна беда, - обедать приходилось ездить к нашим. И едва через месяц я нашла обед за 9 рублей в месяц в одном милом семействе, которое квартировало в том же доме, где и я, а познакомилась со мною через бывшую гувернантку мою. Но уютная комнатка моя всего месяц послужила мне, потом в ней появился страшный ядовитый смрад по случаю какой-то таинственной фабрикации в соседней квартире. Свидетелем этого смрада был Владимир Михайлович Вороновский. Поселясь самостоятельно, я написала ему письмо, он выразил желание повидаться со мною у брата своего Мих. Мих., куда я и отправилась вечером. Давыдов, конечно, успел наслетничать там, и придя, я, хотя и встретила там радушный прием, но один из студентов, как бы невзначай завел разговор о заведении Мержиевского, а супруга Михаила Михайловича показала карточку М. Давыдовой, думая, не возбудит ли ревность это изображение.

Одним словом, видно было, что каждый слышал нечто, каждый воображал причину "расстройства" по-своему, но эффекта от испытания не получилось. Я была по-прежнему весела и интересовалась только условием насчет своих занятий. "Верный друг" мой утешил меня словами: "Вы все та же Ю.П.", заниматься обещал приходить ко мне через день. Начались эти занятия, но сколько пытки дали они мне! Я не узнавала своего друга, я видела в нем холодного чужого педагога, дающего урок час и быстро исчезающего. Во все время он ни разу не спросил меня, каково мне, и точно не знал о всем перенесенном мною. Это страшно мучило меня, а когда я оставалась одна с книгою, то часами держала ее в руках, а мысли витали в разжевывании недавно прошедшего.

Видя такой застой занятий, я приходила в ужас, но не могла справиться со своими мыслями. Наконец, переехав в том же доме на другую квартиру за 8 рублей и догнав по геометрии все нужное, я несколько втянулась в занятия. Чтобы принудить

себя сосредотачиваться над ними, я взялась помогать одной из плохих учениц в нашем заведении, а Владимир Михайлович перестал посещать меня. Но в квартире нашей подле моей комнаты отдавалась еще комната. Ее занимали опять студенты, только другого покроя. Один из них был математик, болгарин, некто г. **Монастырли**. Это был прелестный, редкий молодой человек, в нем не было ничего напускного, он весь серьезно отдавался науке и в то же время любил потанцевать и побалагурить. В его обществе чувствовалось как-то хорошо, просто, точно с товарищем. Этот молодой человек жил уроками и впоследствии, уже на другой год, я ходила к нему перед выпускным экзаменом заниматься математикой. Никогда не забуду, как серьезно и прелестно преподавал он.

В настоящее же время нас вместе постигнул переполох. В одну ночь раздался страшный звонок, дом оцепили, и толпа полиции произвела обыск, сперва у них, потом у меня. Я даже не встала перед незванными гостями, предоставив им шарить везде и прося насмешливо осмотреть и ящик с грязным бельем. Не найдя ничего, важный персонал удался. Жаль мне было старика-квартирного лет 60-ти, отдававшегося этой неблагоприятной обязанности при его должности, вместо того, чтобы сохранять силы сном. Старик, увидав у меня карточку Дяди советовал переселиться опять к нему, ибо дом, где я жила, считал весьма неблагонадежным.

Восстановив в скором времени свою репутацию в училище, у Дяди и везде успешным окончанием 1/2-годичных экзаменов, я последовала совету полиции и переселилась к Дяде почти насильно, уже великим постом. Говорю насильно, потому что Дядя мучил меня почти две недели, не давая ответа на вопрос, могу ли дожить у него до весны. Оказалось, что он боялся меня приютить после бывшего обыска, как я узнала от кузена, и лишь тетя и Любочка убедили меня остаться, невзирая на его уклончивость и настояв на том, чтобы Дядя выразил согласие. Весною я хорошо выдержала переходные экзамены и уехала на лето в Смоленск, думая скопить за это время деньжонок.

Смоленск, лето 1880

Хотела отправиться на 2 месяца к брату Алеше в имение его жены, но не пришлось. Смоленские родные встретили меня хорошо. Из знакомых я чаще всего виделась в это время с М. Матон и Федоровыми. С первой я сближалась все больше и больше, находя в ней личность душевную, разумную и глубоко понимавшую меня. Со вторыми наше семейство также давно было знакомо. Это была счастливая бездетная парочка. Сам г. Федоров был сослуживцем брата моего Алеши, а жена его - добрая барынька, весьма хорошо относившаяся ко всему нашему семейству.

В это время Федоровы приобрели новое знакомство с учителем гимназии, некто Курч-м, о нем я уже упоминала, так как встречала его на музыкальных вечерах у М. Глинки. Правда, тогда я видела этого господина мельком, теперь же только и слышала хвалебные гимны ему со всех сторон. **Курчинский** был брюнет среднего роста с вечно розовыми щеками и вообще, - весьма цветущий, здоровый, щегольски одетый, очень аккуратный, серьезный, почти всегда и везде читающий, но на вид какой-то удрученный, грустный. Федоровы устраивали прогулки за город, и мы виделись почти каждый день, читая в домашнем кружке по возвращении. Феликс также участвовал в нашей компании, но о, диво! Он был женихом и чьим же? Моей первой подруги детства Саши Горб-ой. Этот выбор его поразил меня, соединение двух совершенно разнородных людей пугало меня. Мне казалось, что столь глубокая, редкая, впечатлительная личность, как Феликс, не мог найти счастья в совместной жизни с Сашенькою, столь тяжелою на подъем, не энергичною (хотя, несколько горячею и неуступчивою) и флегматичною.

Я высказала Феликсу свое мнение. Он ответил, что очень рад ему, но что решил жениться и выбрал ту, которая была моею первою и постоянною подругою, что он

уверен в расположении ее ко мне и в постоянстве к нему. "Такая не изменит, - добавил он, - а больше мне искать нечего..." 30 июля назначена была свадьба и отъезд в Ельню, куда Феликс переходил следователем. В ожидании этого прогулки наши продолжались. Курчинский очень хорошо относился ко мне, он стал посещать и наш дом, даже выходил навстречу, когда я шла гулять и купаться в Днепровскую купальню. Книгами снабжал весьма усердно. Однажды, мы устроили пикник на даче. Курчинский достал шарабан с прелестною лошаdkою и прокатил меня. Дача ему очень понравилась, там он откровенно высказал, что давно слышал обо мне много хорошего, и рад теперь возможности лично убедиться во всем этом, надеясь, что я перееду на дачу хоть на месяц и мы за это время хорошо узнаем друг-друга.

Зачем ему это, я не спрашивала, вообще же ценила столь прямое и доброе отношение ко мне хорошей серьезной личности, тем более, после недавней репутации, которая не могла не дойти из Питера до него через Матан, весьма дружившую с Федоровыми. Однако, я высказала Л.С. Курчинскому, что, несмотря на взаимное желание поддержать приятное знакомство с ним, я намерена ввиду материальной необходимости жить июль месяц в имении брата, а не на даче. Это опечалило его настолько, что он просил переменить решение, и на другой день обещал зайти узнать результат. Однако, сколько я не соображала, переменить свой план не нашла нужным, напротив, я чужала в отношениях Курчинского, что-то новое и, перенеся в жизни так много горя, глубоко ценила расположение и внимание умного человека, столь сходного со мною и по роду деятельности и по любви к занятиям, да и вообще симпатичного.

Мне казалось, что я в состоянии теперь крепко привязаться к человеку из одной бесконечной привязанности за его расположение ко мне. Надо было только найти человека, который действительно любил бы меня, а на прошлое с его светлыми, но неуловимыми призраками пора было махнуть рукой.... Но как махнуть, не убедаясь в степени их влияния на меня, и вот, я хотела снова съездить в Бест-ку, в Тростянку через 3 года после кажущегося охлаждения к людям, живущим там, и если все окажется потухшим навсегда, возвратиться назад, убить все прошлое и допустить влияние чувства нового человека..... Но не могла же я разъяснять все это Курчинскому. Отказ же мой переехать на дачу так ошеломил его, что мне сразу стало невыразимо жалко его, и я не хотела, чтобы он ушел под таким настроением. Объяснение наше происходило в саду, в беседке у Ник. Степ. Воронец. Услыхав мое решение, Курчинский понурил голову и тотчас встал, чтобы уйти, но я тоже невольно призадумалась, потом быстро решив исполнить его желание, вскочила и, загородив выход из беседки, не пускала его, объявив, что поеду на дачу. Будь что будет.

Однако Курчинский отнесся как-то странно к этому решению, все-таки скоро ушел, а потом я узнала, что он немедленно собрался и уехал в деревню к М. Глинке на целых две недели (конечно, я после узнала почему он гостил так долго). Я не хотела изменять своему слову и, не умея понять странного поведения Л.С. Курчинского, отправилась к М. Матон и с этих пор уже как с другом стала говорить с нею. Она согласилась пожить со мною лето на даче, и я на другой день переехала. В продолжение месяца я посвятила милейшего нового и вернейшего до сих пор друга своего во все тайны своего прошлого. Прелестные дни проводила я в задушевной беседе с Еленою Людвиговною и отдыхала среди ее чуткого понимания. Она, как женщина, понимала все изгибы моих душевных треволнений. Восхищаясь Светочем, она симпатизировала и Курчинскому, и мы вместе дожидались его возвращения.

Наконец, через 2 недели он появился, стал довольно часто посещать нас и переписываться со мною, но все движения его души, все строки его были до того педантичны, до того сдержаны и нерешительны, что мне было досадно видеть это, трудно было раскусить человека. Наступил конец июля. Я собралась отпраздновать 30-го свадьбу Феликса и уехать в Питер кончать курсы. Вдруг, получаю от Л.С. Курчинского письмо, где говорится в весьма растянутой форме, что, "кажется", он

любит меня и желает немедленно знать, разделяю ли я его чувство, чтобы сейчас же решить наше соединение навсегда. Решить свою судьбу, не проверив свое личное расположение, не узнав хорошенько человека, не кончив начатого дела, а полагаясь на какое-то "кажется" было бы более, чем глупо. Я написала горячий ответ на это педантичное, взвешенное на холодных весах послание любви, и взяла его с собою на вокзал, где мы должны были встретиться, идя к вечернему поезду встречать г. Федорова, возвращавшегося из Питера благополучно после опасной операции.

В 7-м часу мы отправились с Матон пешком на вокзал и явились туда первые, но каково же было мое удивление, когда вдруг, в этот знаменательный для меня день, я увидела там своего "Светоча" и в эту неожиданную встречу В.М. действительно походил на "Светоча" сверкнувшего столь кстати. Он совсем не походил на холодного педагога, преподававшего мне зимою геометрию. Нет, теперь передо мною стоял прежний, родной душе Владимир. Глаза его по-прежнему светились радостью и моментально зажгли меня. Мне чуялся возврат потерянного счастья, я чувствовала, что вся сияла небывалым светом, а Матон видела это дивное отражение внутреннего счастья на мне. Тут же была и мать В.М., очень обрадовавшаяся мне. Они объявили, что 30-го июля свадьба Анюты, и упрашивали приехать к ним. Трудно было отказывать, но и Феликс венчался 30-го, поэтому я обещала прикатить 31-го.

Приехал Курчинский. Соперники, должно быть, узнали друг друга и гордо смерили друг друга глазами с головы до ног. Была тут и М. Глинка, приглашавшая меня к себе в деревню с Курчинским. Одним словом, меня рвали на все стороны, а я стремилась только к "Свету". Поезд, доставивший Федорова, унес Воро-х, я с Матон отправилась обратно. Курчинский пошел провожать, обещая придти на другой день. Он явился довольно рано, но прочитав мой ответ, сказал, что не согласен ждать: "Или сейчас, или никогда!" - "Если последнее так легко, - ответила я, - то, конечно, лучше никогда". И Л.С. остался, точно заблудившийся, ни при чем. Он просил запрячь хотя бы лошадь в телегу (несмотря на то, что еще накануне признавал это неприличным), и отвезти его в город. Так и сделали. После этого я видела его только шафером на свадьбе Феликса. Мы обменялись нашими письменами, накопившимися за лето друг у друга (могу после приложить образчик их), и расстались навсегда. Хотя Федорова и помирила нас заочно, прося меня приехать на Рождество.

31-го июля я побывала в Тростянке. На вокзале Починка меня встретил В.М., провожавший Анюту с мужем, и сам довез меня. За день моего пребывания у них, он успел расспросить меня о Курчинском и "Дедушке". Но что больше всего меня озадачило, вспомнил даже об Азанчевском и справился о том, где эта личность. Вообще, в обращении его слышалось нечто прежнее, хотя было много натяжки. Одна Матон была свидетельницей того счастливого миража, который я переживала под влиянием этого воображаемого возврата прошлого. Господи! Как я была тогда счастлива с одной мечтой, как благодарила Бога!...

Питер, осень 1880, 1881

К 10 августа я уехала в Питер, заранее приготовив себе квартиру в Почтамтской улице, в семействе хорошо известном мне, а именно у симпатичных Клоковых. Я занимала с Зиночкой одну комнату, но мне было хорошо и покойно в этой радушной семье. Старик Клоков ежедневно приветствовал меня словами: "Здравствуйте, красное солнышко" и дни среди серьезных выпускных занятий катились незаметно. Утром - практика в школе, с 2 до 6 часов - лекции, вечером - конференции и гимнастика, когда ж тут отдыхать! И отлично. Было только одно горе: В.М. ложно обвинили, и вдруг я узнаю, что он взят и посажен в предварительное заключение. Ужас охватил меня, я бросилась узнавать о нем к Марковой, которая училась на курсах вместе с женою М.М. Вор-го, потом, узнав о приезде несчастной испуганной матери В.М., отправилась к ней и, узнав, что она будет просить выпустить

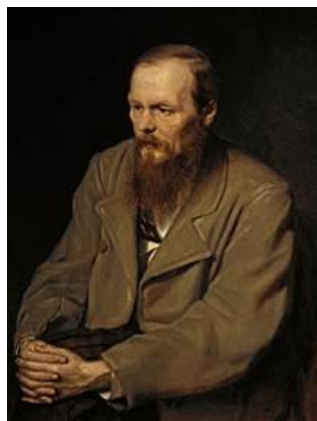
сына на поруки, но не знает, где найти поручителя, кинулась к князю Друцкому, дяде моей знакомой Федорович.

Этот сиятельный старик был всегда хорош со мною и слыл за либерала, но видно у всех этих лиц от слова до дела - целая пропасть. Когда я объяснила князю просьбу бедной матери В.М., то он заговорил весьма суровым тоном, заявив, что вовсе не намерен потворствовать подобным лицам и даже опасается, чтобы я, имея такое знакомство, не повредила его Женечке. Этот оборот дела поднял во мне всю желчь. Конечно, я не замедлила уйти от его сиятельства и больше никогда не появлялась на его пороге. Помню только, как я едва дошла до дома, скрывая от проходящих невольно катившиеся по щекам слезы. Однако, Господь не оставил усердных молитв, и В.М., хотя и приобрел несколько седых волос, был освобожден, благодаря неусыпным хлопотам энергичной мамыши его. Прилагаю письмо того времени.

13-го марта 1881. Не дошло.

Сегодня ровно неделя, как я узнала тяжелую весть о неприятном новоселье, теперь после подробной беседы с мамашею, невольно рвусь хоть письменно пожать руку тому, кому так глубоко сочувствую, тем более, что еще так недавно сама испытала, каково сидеть одной в каютке, подобной Вашей. Правда, мое бывшее заключение немного разнится от Вашего, да и не знаю, известно ли Вам то положение, в какое меня поставили окружающие осенью. Про Ваше настоящее скажу только, чтоб не думали, что Вы одни, право нет того часа, чтоб мысленно не присутствовали около Вас те, которые от души сочувствуют. Время быстро летит, и я твердо верю, что скоро Вы испытаете то неизъяснимое, отрадное чувство, которое испытывают только лишавшиеся на время свободы. Посылаю Вам одно из сочинений автора, произведения которого создавались под влиянием обстановки подобной Вашей. Может прочтете от скуки.

Когда наступил желанный день освобождения мы все собрались в квартире Мих. Мих. Вл. Мих. казался мне усталым, угрюмым и мало разговорчивым. В тот вечер было литературное чтение, читал Тургенев, и В.М. отправился слушать его. За последнюю зиму, проведенную мною в Питере, мне пришлось испытать еще два



тяжелых впечатления. В бытность мою в столице я хорошо познакомилась с литературными произведениями Ф.М. Достоевского (Достоевский Федор Михайлович - 1821-1881, русский писатель, фото портрета). Пришлось мне также много слышать про эту недюжинную душевную личность, удалось слышать на литературном вечере дивное прочувствованное чтение его, и не забыть мне никогда этого чтения его; читал он тогда своего "Таинственного посетителя" из "Братьев Карамазовых". Господи! Какое глубокое понимание души человеческой, какое замечательное исследование всего процесса душевных страданий убийцы и какой талант говорить устами преступника так, что невольно содрогаешься, слыша сознание убийцы из уст Достоевского. Видя перед собою истинного человека, умевшего так понять душу другого, я чувствовала себя счастливою, я сознала, что в мире есть личность, к которой можно смело пойти, можно как отцу поведать все и быть понятою..., и с этой минуты я полюбила Ф.М. как отца. Когда после чтения Ф.М., Горбунов неожиданно гаркнул: "Спрятался месяц за тучку" и вызвал смех публики, то я невольно заплакала от такого нелепого перехода от высоких мыслей в кабак, а публику аплодировавшую, просто готова была побить.

1881

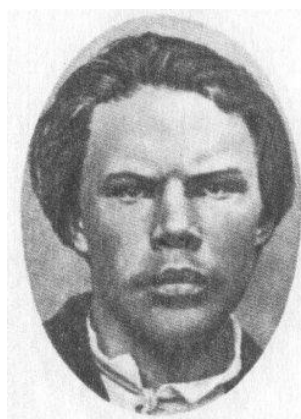
29-го января 1881 года я тоже собиралась на литературный вечер Достоевского, но можно судить, какого было мое горе, когда смерть внезапно унесла этого человека накануне этого дня. Право, мне казалось, что мир опустел после этой незаменимой потери.... Сверх ожидания в нашем училище нашлись ретивые поклонницы таланта Ф.М., и скоро составилось 40 рублей сбор на венок Ф.М. Нелепыми казались мне подобные траты прежде, но на сей раз я была энергичною участницею. Увенчание нетленного таланта сотнями венков летевшими со всех концов России меня приводило в восторг.



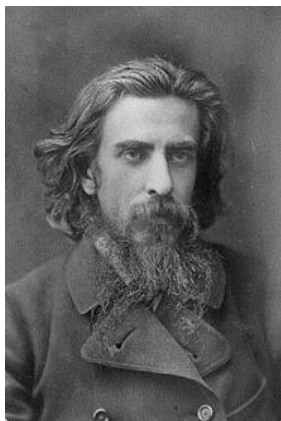
Эти цветы казались признательностью всех угнетенных и страждущих, понятых и воспетых покойным. Такого возвышающего настроения я не помню. Даже надгробные стихи невольно сложились тогда мною и были приняты **Григоревичем** (*Григоревич Дмитрий Васильевич - 1822-1899, русский писатель, фото*) в числе многих литературных выражений скорби. Помню, тогда я предлагала Григоревичу устроить подписку на устройство невестественного памятника покойному - "школы для бедных детей", которых он так любил, но Григоревич, заплакав вместе со мною, убедил, что подписка не пойдет, так как "грустное впечатление быстро исчезнет в толпе и сохранится лишь в таких юных душах как Ваша и таких поэтических, как наши!" - добавил он. (Приложу после эти стихи свои).

Но для 1881 года мало было этой утраты. Наступило ужасное 1 марта, и зверская рука юных душ истерзала добрейшего, столь много сделавшего для России и для нас женщин, Монарха... Мне вспомнился религиозный принцип В.М.: "Люби ближнего, как самого себя". Говорят, это общий принцип современной молодежи, но по делам этой увлекающейся молодежи, отвергнувшей Бога и ищущей по свойству человеческой природы нового идеала для поклонения, пуст... Видно, насколько далеки они от этого совершеннейшего принципа. Если бы люди могли выполнять эту заповедь Великого Учителя нашего, то, конечно, лучшей веры не нужно было бы для достижения райской жизни на земле... Увы! На самом деле наши юные сердца лишены с детства истинных руководительниц в лице достойных матерей и потому, достигнув возраста физической силы, они умеют только произносить великие слова, а поступают совершенно обратно.

"Люби ближнего", - говорит заповедь, и этих ближних она не подразделяет, т.е. люби всех, - и хороших и дурных, солидарных и несолидарных с твоими убеждениями, а наши передовые бойцы подразделяют своих ближних: одних осуждают на смерть,



других преследуют, и только единомыслящих признают своими ближними. Господь, да вразумит их! Только жаль, что они не замечают, что действующие мечем от меча и погибают. Так было 1-го марта. Попав на Дворцовую площадь, когда везли **Рысакова** (*Рысаков Николай Иванович - 1861-1881, участник покушения на императора Александра II, фото*) и происходила ужаснейшая суматоха, я до того была потрясена, что захворала и две недели не посещала лекций. Мне было глубоко жаль нового Монарха нашего, вступившего при таких тяжелых обстоятельствах на престол. И я молилась, чтобы Господь умудрил его, подобно миротворцу Владимиру Мономаху, дав в его лице идеального Царя народу русскому, который сумел бы заставить всех уважать свой Великий титул.



И вдруг, в день суда над преступниками раздается смелый голос нашего знаменитого философа, историка **Соловьева** (*Соловьев Владимир Сергеевич - 1853-1900, русский религиозный мыслитель, философ, фото*). Мне передают, слышавшие его речь нечто вроде вышеизложенного желания моего. Я прихожу в восторг, предполагая в Соловьеве истинного христианина, призывающего всех под знамя Христа и указывающего всем на идеал Христа и его Помазанника - Царя, который должен воплощать идеал правды и справедливости. Прошу знакомых достать эту речь и получаю ее на страстной неделе во время говенья, причем, конечно, я не опасалась читать эти воззрения в дни покаяния. Но, о ужас! Через 5 минут мне пришлось с

омерзением швырнуть это философское умозрение, я стала презирать Соловьева, потому что из его речи я узнала в нем не христианина, за которого он выдает себя своею аскетическою и постническою жизнью, а самого тонкого атеиста. Потому что верить в Бога, преклоняться перед совершенством идеала Христа и в то же время браться уяснять существо Бога, или вернее понятие, что такое Бог, доходя до низведения Его в материю, это не есть вера, это материализм, это полное безверие, пагубное для всех заражаемых им. Я негодовала, что рукопись Соловьевской речи вращается среди молодых рук, и нет у нас истинного умного Пастыря, который сумел бы опровергнуть эту философскую гниль.

Однако, и на меня, столь крепко верившую в Господа, постоянно явно руководившего мною, эта гниль страшно повлияла. Она точно насильно оторвала меня от той беспредельной веры, без которой я не могла жить. Я точно сразу омертвела, пошла в церковь, но, чувствуя себя чуждою среди Храма Божия, я не могла выносить ни службы, ни молящихся.... Как тут говеть? До субботы я положительно исстрадалась, но чувствовала, что без Бога я жить не могу, хорошо поняла тогда, каково лишаться веры, поняла то, как легко потерять ее, если только поддаться влечению все отрицать. Я же, напротив, стремилась искать Бога., на исповеди я даже сказала об этом искушении, но наши пастыри, конечно, не умеют помогать в этих случаях. Хорошо, что Господь сам возвратил меня к себе на путь истины.

Видя несовершенство служителей церкви, я приписала весь упадок религии им. Сознывая свое несовершенство, я решила, что прежде чем удостоиться познания Бога, мы должны посвящать всю жизнь не разгадкам существа Божия, а подражанию Христу. Усовершенствуйся сам, и тогда увидишь, что присутствие Божества станет для тебя ясным. Кроме того, я остановилась на премудром создании самого человека. Как сложен и дивно устроен весь его организм, какая масса ничтожных органов рефлективно подчиняются главному двигателю - мозгу, возможно ли, что бы какой-нибудь ничтожный орган или нерв постигнул, что такое мозг? Не то ли самое представляет собою премудрый организм Вселенной, возможно ли, чтобы ничтожный член ее - человек постигнул Верховную силу Божества? Нет! Так стоит ли задаваться невозможным?.... Этим и кончились мои сомнения, возвратив на прежнюю стезю.

В июне я весьма успешно выдержала экзамены как в практических занятиях, так и во всех изученных предметах, и, получив аттестат 3-ей по успехам ученицы в заведении, вышла с правами учительницы и торжественно возвратилась в Смоленск не гимназисткою, а человеком, достигнувшем цели, несмотря на все препятствия, и гордо смотрящим на свое прошлое. Да, после такой победы можно было чувствовать себя счастливою с безбоязненным взглядом вперед!.... Прекрасное время, проведенное в училище, я никогда не забуду. Сколько единодушия, сколько общих честных тревог!....

Лето 1881, возвращение в Смоленск

Возвратясь навсегда в Смоленск, я поселилась летом по-прежнему на даче со своим племянником Володею. Гостила у меня Матон, но не долго. Вообще же, время проводилось скромно. Осенью отпировала свадьбу своей кузины Кати, с которой жила 1-е лето на даче и стала обдумывать, как устроить свою жизнь и деятельность зимою. Я давно решила посвятить свое время обучению и воспитанию бедных детей, но считала необходимым вести это дело в миниатюре, так как за небольшим составом училища легче уследить, да и после легче направить их к полезной деятельности. Затрудняло меня только помещение для этой цели. Дом мой был уже продан, и я жила, платя за стол, у Матан. Каково же было мое удивление, когда она отнеслась довольно сочувственно к моему плану и предложила занять у нее отдельный мезонин в две комнаты. Я несказанно была признательна ей и, приобретя весьма скоро 10 учеников, отдалась вся любимому делу.

Добрый приходской священник наш отец **Александр Кокорин** вызвался бесплатно преподавать Закон Божий. Дело пошло хорошо, и я была вполне счастлива у желанной пристани. Наступила глубокая осень, гололедица. Вдруг, в одно из воскресений получается из Ельни ужасная эстафета: "с Феликсом несчастье, скорее ксендза". Наши все оторопели, меня же как громом сразила эта весть. Однако, захватив рублей 10, я, несмотря на гололедицу, полетела к ксендзу, чтобы вместе с ним ехать на поезд, до которого было всего 1/2 часа. Какова же была моя досада, когда ксендз до вечерни не согласился ехать без разрешения губернатора (они под надзором). Я опоздала сама, не исполнилась воля больного, и чувствовало мое сердце, что если не вырвусь сейчас, то не увижу своего дорогого Феликса никогда, а приезд вовремя любимой сестры и духовника, может быть, и подкрепил бы его.

Целые сутки мучилась я в неведении, так как и телеграфа в Ельню не оказалось. Вечером со мною сделалась истерика, и меня не пустили ехать с ксендзом, который тоже опоздал и лишь привез на другой день тяжелую весть, что Феликс, мой стойкий, честный, дорогой Феликс скончался во цвете сил... И скончался не потому, что заболел, как каждый из нас смертных, а скончался потому, что, заключив свою жизнь в слишком уединенную рамку, отдался всей своей впечатлительной честной душой неблагоприятной службе. Разбирая изо дня в день дела об убийствах, боясь обвинить невинных и ужасаясь зверству нравов, он довел свою чуткую душу до изнеможения и ожесточения, так что сам уже высказал желание оставить должность следователя. Как вдруг, новое убийство двух людей повлекло его на следствие ночью и, по болезни дежурного врача, потребовало удвоенных занятий с его стороны в продолжение 2-х суток. Лишь на следующую ночь он возвратился, разбитый душою, говорил, что боится обвинить невинного, не лег спать, а убрал все свои дела и потом зарезался кухонным ножом уже в 8 часов утра, нанеся рану в сердце, столь глубоко чувствовавшее и много страдавшее!...

Надломилась родная, ретивая, непонятая, чуткая натура... Но пришлось ей еще возвратиться к жизни, раскаяться в своих поступках, принять православие. Когда мы шли за пасхальным крестным ходом после кончины моего отца, мне невольно пришло в голову молиться, чтоб он принял православие. И это случилось. Он принял его, причастился и лишь через 3-е суток перешел в лучший мир, выражая желание жить... Не могла я перенести этой потери, быв сама уже достаточно надломленной. Кроме того, я одна рвалась приготовить все в Смоленске для привоза тела дорогого покойника, целые дни летала, хлопоча, то о могиле, то о певчих, то о встрече, то о разрешении провоза по чугунке; одним словом, замучилась, встретила дорогой труп, преклонилась пред ним, но уже в церкви не могла быть, захворала нервной горячкой, однако успела вызвать телеграммою старшего единого брата Феликса и примирила его с осиротевшим стариком - отцом их Михаилом Алексеевичем, который

переселился к нам вместе с вдовушкой. Выздоровев, я хотела приняться за свое дело, но верх мой уже отдан был вдовушке. Однако, благодаря любезности квартирантов Матап, я взяла для училища мезонин на другой половине дома, и ходила туда заниматься, что было не совсем удобно.

1882

Настало Рождество Христово. Я задумала устроить елку для своих детишек и выпросила для этой цели залу у Николая Степановича Воронца. Суетясь среди приготовлений в самый новый год, я была удивлена появлением у нас с визитом какого-то высокого молодого человека. Гляжу..., да это старый знакомый Азанчевский, являющийся через 5 лет. Встретясь с ним холодно, я поспешила возвратиться к своим праздничным занятиям. Нетерпеливые детишки ожидали елку уже с 4-х часов, а в 7 бродили около нее веселые, но сперва смущенные, кроме своих никого не было. Вдруг, гляжу, отворяется дверь и является Азанчевский! Николай Степанович успел угодить ему приглашением на елку по секрету. Мало изменился он по наружному виду, хотя несколько возмужал. Вечер прошел довольно приятно. Приехала Колачева - бывшая жена Потемкина и удивилась появлению моей тени. Тень эта оказалась по-прежнему аккуратной. Перейдя на службу в Смоленск, она появлялась всюду, где я, и нередко посещала нас.

Наступила весна, а с нею смелость в беседе, столь оживающей вместе с природою. Меня спросили: "Неужели прошлое еще не утратило своей силы, а если нет, то почему оно не стало до сих пор настоящим?" Я ответила откровенно, что "прошлое" по-прежнему светит мне издали, но, что я не в силах обратить его в настоящее. Есть у меня одно письмо, которое я написала Азанчевскому тогда в августе, где ясно видно насколько это прошлое было еще сильно во мне, и тогда впервые вызвал он мою глубокую симпатию своим чутким восторженным ответом, совершенно чуждым ревности. Но это было осенью, а лето я провела на даче, куда часто приезжал Азанчевский. Я более не чуждалась его, желая убедиться в искренности его чувств, по-видимому, столь постоянных и, если так, то готова была высоко ценить их.

Все лето не было данных сомневаться в редком постоянстве, однако 15 июля несмотря на то, что это был день именин (он носил тоже имя Св. Владимира Великого), я уехала к Вор-м. Но холодом веяла прежняя радушная Тростянка. Семья как-то распалась. Влад. Мих. был точно чужой, угрюмый, далекий, мне стало тяжело там, я не видела ни прежней жизни, ни прежней энергии, ни семейного дружелюбия и поспешила уехать через 2 дня. Сознаюсь теперь, что контраст между прошлым и настоящим был громаден, прошлое только светило, и то в моих воспоминаниях, настоящее - тянуло и грело. Видно не может человек жить без привязанности, нас тянет к тому, кто любит. Кузина моя Катя была отчаянно больна после родов, я продежурила у нее до 15 августа, а потом повезла ее в Москву вместе с мужем, где хотела взглянуть на выставку и прокатить потом недельки на две в Питер, где прихварывала моя Тетя-Мама.

Азанчевский поехал тоже с нами. Счастье моей кузины Кати доказывало мне, что замужняя жизнь может быть хороша. Чугунка, уносившая нас, влекла меня вперед, где на перепутье стоял давно и терпеливо ожидавший, видимо душевно преданный человек.. Да, такое постоянство могло подкупать меня. В Москве, устроив Катю, которая чувствовала себя лучше, я проводила чудные вечера в саду родных Каховских, гуляя с Азанчевским, и уже не боясь посвящать его в некоторые тайны своего прошлого. Он с таким участием слушал меня, что этим самым как-то особенно вдохновлял мои рассказы. Бережно и заботливо усадил он меня на поезд, провожая в Питер и переписываясь чуть не ежедневно, с восторгом встретил меня уже в Смоленске, когда я возвратилась на Динабург. Теперь я наняла у Матап отдельный флигель и поселилась совсем самостоятельно. Утром занималась в школе, а вечера

сплошь проводила с Азанчевским. И так, весь штат прислуг Матап и она сама принуждены были только глядеть на мою самостоятельность, но изменить ничего не могли.

1883, свадьба

Помню, накануне 6-го декабря мы были с Азанчевским у всеобщей, а, возвратясь в уютный флигель, вместе грелись у топившейся печки. Но греться огнем дров нам пришлось недолго, мы впервые согрели друг друга объятиями любящих друзей... Да, я любила Азанчевского, любила за то, что он сумел один так постоянно и преданно любить меня. Но я еще боялась возврата прежнего чувства и, решив употребить все силы, чтобы убить его окончательно и дать простор новому, написала своему "Светочу" все откровенно, прося ответа и совета, как от прежнего первого друга. Скоро получила два письма, которые и прилагаю как доказательство, что заслужила-таки уважение и расположение этого человека, заживо похороненного мною ради жизни другого и моего личного отдыха. Я страшно страдала, хороня свое прошлое, я чувствовала, что без "Светоча" я никогда не проявлю тех сил и той пользы на любимом поприще труда, на которые была способна. Я чувствовала, что песенка моя спета и последняя пристань достигнута, что став невестой Азанчевского, я должна оставить стремление вперед и могу лишь стремиться не оскудеть. Тяжело мне было, но, наконец, я решилась и дала слово Азанчевскому.



На Рождество мы поехали в Москву, а на Масленицу - в Питер. Там Тетя-Мама и митрополит Киевский Платон *(в миру Городецкий Николай Иванович - 1803-1891, фото)* благословили нас. Отрадно мне было видеть, что Азанчевский молится вместе со мною, это положительно делает меня счастливой, в "Светоче" я никогда не встретила бы этого важного единства. Тетя-Мама была в восторге, что, наконец, моя судьба устраивается. В Питере мы с Азанчевским ежедневно посещали оперу. В последнее воскресенье шла опера "Северная звезда", в антракте Азанчевский пошел курить, а я осталась в зале, вдруг ко мне навстречу повернул "Светоч", мы невольно обрадовались друг другу, но на вопрос, что нового, я поспешила сказать, что выхожу замуж и сама задрожала от этих слов. Тут нас прервал Азанчевский и все остальное время, видимо, был мучим ревностью. По этому поводу у нас произошел крупный разговор, однако он сблизил нас еще больше.

29 апреля 1883 года, ровно через 10 лет моей первой любви была назначена наша свадьба. Матап не желала этого брака, долго относилась совсем безучастно, я одна, в полном смысле как сирота, обдумывала, решала и устраивала свою участь. Вдруг Тетя-Мама совсем занемогла, умирала... Среди тяжелых мыслей я стала как-то флегматично относиться к горячим ласкам Азанчевского, меня испугало это, и вдруг я вообразила, что сделаю и его и себя бесконечно несчастными, если не сумею ответить на его горячее чувство. Эта мысль до того испугала меня, что за 3 дня до свадьбы я внезапно объявила ему, что не решаюсь выйти за него... Бедный Азанчевский сперва порывисто написал телеграмму своему отцу, чтоб приезжал, но потом не выдержал и как сноп повалился в диван, рыдая... Этот переход вызвал во мне столько страдания, так много доказал мне, что сильным приливом благодарного чувства я старалась успокоить дорогого Азанчевского и невозвратно обещала быть его женой.

На другой день я получила телеграмму, что Тете-Маме лучше, молясь, открыла Евангелие и прочитала в Апостольских деяниях следующее: "Не бойся, все святые молятся за Вас". Ободренная, я чувствовала себя сильною духом и твердою решением. Будущее казалось светлым, и в день свадьбы я чувствовала себя вполне

счастливою, мужественною, сознательно и гордо вступающею в новую жизнь. Утром я ходила за благословением на могилы родителей, и всё с ранней зорички уже радовало меня - и чудная погода, и весенний хор птиц, даже оркестр музыки встретил меня



столь рано. Венец назначен был в 2 часа в нашем Спасском приходе, где я родилась и жила все время (Спасская церковь, расположенная по адресу ул. Реввоенсовета, дом 13 - фото - была построена в 1766 году, а в 1979 году переоборудована под общежитие. Ныне решается вопрос об отселении жителей). Потом мы спешили удалиться с глаз людских, но куда? Мне хотелось в Киев, либо к Тете-Маме. Азанчевский стремился увести меня подальше от всех родных, дабы никто и ничто не могло отвлекать меня от него, и решил ехать сперва в Белобережскую пустынь помолиться, а потом в

ближайший заграничный, но интересный уголок Дрезден с его окрестною Саксонскою Швейцарию. Задумано - сделано. Ни слезинки не выронила я, собираясь к венцу. Решено, - так нечего хныкать. Напротив, я сознавала, что поступаю как должно, и



веселая улыбка все время озаряла меня.

Хороший батюшка наш отец Александр венчал нас с большим чувством, певчие пели стройно, любопытных в церковь мы не пустили, и ничто не мешало молиться. После венца мы покатали в квартиру родителей, выпили шипучего и в полном параде отправились к фотографу. Потом возвратились обедать и умчались на поезд в сопровождении брата Алеши до Починок. В Белые Берега мы прибыли в 4 часа утра (старое фото ж/д станции Белые Берега, ныне - поселок в Брянской области).

Никогда не забуду я этого чудного путешествия. Пустынный лес с его монастырским затишьем был до того очарователен, соловьиные хоры среди замечательного



Белобережская пустынь. Вид на Святые врата (со старинной открытки).

соснового воздуха до того обаятельны, смиренные монахи - так кротки и услужливы, что мы действительно могли считать себя какими-то майскими счастливыми.

Прелестный новенький номер гостиницы дал нам мирный приют в Св. обители (Белобережская пустынь, фото старой открытки), и я была действительно счастлива, найдя в своем муже такого хорошего, чистого друга.... Я

плакала, глядя, как усердно молился он перед иконою чудотворной Божией Матери... Благодарила Бога, и невольная параллель с моим первым избранным мелькает в моем воображении. Правда, там светил недюжинный ум, маня за собою на широкий простор мысль. Правда, что во мне не могло возродиться чувство чище, выше и идеальнее того, которое было вызвано "Светочем". Но сам он, если и отвечал на него каким-нибудь чувством, то далеко не таким идеальным, и поэтому теперь не имеет права говорить (как я слышала), что я изменила идеальному чувству ради материального....

Нет, Азанчевский чище его, встретился он со мною 6 лет тому назад и остался неизменным. Правда, он не светит, а греет, но там, где теплота должен скрываться и источник света. Двое счастливых, ничем не омраченных суток, провели мы в Белых Берегах, потом укатили на Варшаву в Дрезден. Дивны окрестности Саксонской Швейцарии, замечательна картинная галерея Дрездена с неподражаемою Рафаэлевскою Мадонною, но воспоминание о Белых Берегах все-таки отраднее. В конце мая мы возвратились назад и поселились в Смоленске, на даче у Алеши.

Кладбище Католическое, где покоится прах незабвенного Папы моего, было любимым уголком Аси для наших ежедневных прогулок в продолжение полутора лет.



БАКАРОВКА

Дача (фото дачи "Вакаровка"), которую так любил Папа, стала первым приютом нашим после свадьбы, а к осени мы купили ее у Алеши. Жизнь наша потекла ровной безмятежной волной. Я совершенно успокоилась душой, все стремления мои уравнились, здоровье окрепло, и дальнейший путь рука об руку с любящим человеком кажется нестрашным.

Летом постигло меня неизбежное горе, - то была утрата дорогой Тети-Мамы. Она перешла в вечную жизнь, счастливая устройством моей судьбы, и еще накануне удара, поразившего ее, написала нам большое последнее душевное письмо. Вот уже полтора года, как я замужем, ничто не возмущает нашу мирную жизнь. Зимой мы жили в городе, я по-прежнему аккуратно продолжала занятия в своем училище, при Азанчевском мне стало легче поддерживать дисциплину.

В мае кончилось первое трехлетие, и был первый выпуск, теперь из прежнего комплекта осталось только двое маленьких. Если Господу будет угодно и здоровье, а также семейные обязанности позволят, буду продолжать любимый труд, хотя сознаюсь, что первый результат его огорчил меня. Лучший ученик после выпуска был оставлен у меня как работник с платою жалованья, и каково же было мое разочарование, когда этот усердный математик и грамотей оказался первейшим алчным лентяем в работе и совершенно нерадивым ко всему прежде изученному. Нет, влиять на детей всесторонне видно можно только тогда, когда они живут при училище, под нашим же надзором. Впрочем, утешаюсь лучшею ученицею моею Фенею, из девочек. Та осталась также под моим наблюдением и оказывается трудолюбивою, искренно признательною и привязанною ко мне и услужливою всем.

На днях я должна сама стать матерью. Пусть же малютка моя, придя в возраст, прочтет эту биографию и помнит, что как ни страшна жизнь с ее бурями, все переносится легко человеком верующим.

Да, многое пережито мною, а все-таки я считаю себя счастливою. Чем труднее побороть, - тем смелее смотришь вперед, тем выше поднимаешь голову, с гордостью оглядываясь назад.

Как хорошо было бы, если бы каждый из нас, задавался целью отдать себе подробный письменный отчет, который при помощи фотографии можно было бы иллюстрировать даже карточками действующих лиц. То были бы живые романы, они приучили бы людей остерегаться в своих поступках и сосредотачиваться над анализом собственной жизни и окружающей действительности.

20-го августа 1884 года. (30 лет).

Послесловие

"Исповедь" Юлии Павловны Вакар оканчивается свадьбой с Азанчевским Василием Васильевичем и ожиданием рождения ребенка в августе 1884 года. Дальнейшая ее жизнь и судьба остались за пределами данной книги. Попробуем частично восполнить этот пробел.



Василий Васильевич Азанчевский (фото в зрелом возрасте) во второй половине 80-х годов служил в Смоленске чиновником особых поручений. Его последующая служба была связана с исправительными учреждениями Смоленской губернии (в 1889-1898 гг. он являлся одним из директоров попечительского комитета о тюрьмах, в 1898-1915 гг. - председателем совета Общества исправительных приютов и колоний для несовершеннолетних). Одновременно, он был членом губернского Статистического комитета в течение 16-ти лет (1889-1905). Надворный советник с 1897 года. **Юлия Павловна** (фото в зрелом возрасте) с 1898 года несколько лет являлась издателем газеты "Смоленский вестник". О первом ребенке Азанчевских, рождения которого она так ожидала в 1884 году у нас сведений нет. Видимо, он умер младенцем.



В дальнейшем в семье родились четверо детей: Анна (также известна как Инна и Таисия), Юлия, Василий и Надежда. Примерно в 1912 году семья переехала в Петербург, но лето по-прежнему проводила в смоленском имении. Василий Васильевич Азанчевский погиб, по семейной легенде, от шальной пули на улице, вероятно в 1916 году. В ходе гражданской войны остальная часть семьи навсегда покинула Россию и эвакуировалась с русским флотом в Тунис. Юлия Павловна умерла в г. Бизерта (Тунис) в 1938 году. Там же и захоронена.



Анна Васильевна Азанчевская (1886-1946) (фото) стала талантливой пианисткой. В 1915 году она вышла замуж за дипломата, композитора, поэта, филолога, математика **Леонида Дмитриевича Тяжелова** (1888-1935) (фото рядом). В 20-е годы жила с матерью в Тунисе, потом в США. Имела двух сыновей (Юрия и Ярослава).

- **Юрий (George) Леонидович Тяжелов (Tiajoloff)** (1917-2010) работал инженером в Соединенных Штатах Америки. Умер в Майями (штат Флорида, США). Был женат без детей. Жена - Josepha Tiajoloff (Eglesia).

- **Ярослав Леонидович Тяжелов (Tiajoloff)** (1919-2014) также проживал в США. Имел жену Анну и четверых детей.



Юлия Васильевна Азанчевская (1891-1949) (фото) вышла замуж за офицера царской, потом "Белой" армии **Сергея Дмитриевича Кочетова (1885-?)** (фото рядом). После эмиграции в Тунис Сергей Дмитриевич ушел из семьи. В 1952 году жил в Бразилии, где его следы теряются. Юлия Васильевна с детьми и матерью продолжала жить в г. Бизерта (Тунис), где работала медсестрой. Она имела двух сыновей:

- 1-й сын **Сергей Сергеевич Кочетов (1915-**



2000) (фото) родился в Петербурге и в 20-е годы жил с родителями в Тунисе. В 1945 году женился на француженке **Терезе Ferrier (?-2011)** (фото рядом), и у них родился сын **Алекс (1948-2008)** (3-е фото). **Алекс** женат не был, детей не имел. В дальнейшем Сергей Сергеевич переехал во



Францию. Его жена осталась в Тунисе, где и умерла в 2011 году. Во Франции у Сергея Кочетова родился еще один сын **Доменик** от француженки **Клодин Батаглия**, но и их он вскоре покинул. Доменик был усыновлен семьей Бурель в возрасте пяти лет и сегодня является врачом-терапевтом, отцом пятерых детей. Сергей Сергеевич Кочетов умер одиноким во французском доме престарелых.

- 2-й сын **Баян Кочетов (1922-1992)** (фото) с рождения и до II



мировой войны жил с матерью в Тунисе. Во время войны вступил добровольцем в армию генерала де Голля, окончил училище и стал военным летчиком французской эскадрильи, базирующейся в г. Пальмира (Сирия). После войны он продолжил учебу и стал хирургом-дантистом. В 1947 году женился и имел пятерых детей. Скончался в Ницце (Франция). Потомки Кочетовых (**Nicolas, Yves, Bertrand, Anne, Catherine Kotchetoff**), продолжают и ныне жить во Франции.

Василий Васильевич Азанчевский - младший (1897-?) (фото)

умер молодым (вероятно, погиб на I-ой Мировой войне). Женат, видимо, не был и детей не имел.

Надежда Васидьевна Азанчевская (1898-1963) (фото) в 1916



году вышла замуж за **Николая Михайловича Губского (1888-1971)** (фото рядом). В этом же году Губские уехали в Лондон, где Николай работал в русской военной миссии, потом российским вице-консулом в г. Ньюкасл, затем клерком в разных английских фирмах. В 30-е годы Николай Губский стал английским писателем (**Nikolai Gubsky**) и опубликовал несколько романов на английском языке, частично автобиографических, где подробно и достаточно точно описал петербургский период жизни семьи Азанчевских, выведя их под фамилией Шан Гирей. Супруги Губские имели двоих

детей (дочь Ксению и сына Кирилла).

- **Ксения Николаевна Губская (1917-2000)** в замужестве носила фамилию **Хезерингтон (Hetherington)** и имела троих детей. Умерла в Лондоне.

- **Кирилл Николаевич Губский** (1922-1995) также жил в Лондоне. Был женат и имел двоих детей.